

# Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Господа ташкентцы

Картины нравов

1869 г.

## ТАШКЕНТЦЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА

### ПАРАЛЛЕЛЬ ТРЕТЬЯ

У начальника отделения, статского советника Семена Прокофьяча Нагорнова, родился сын. Это был плод пятнадцатилетней бездетной супружеской жизни, и потому естественно, что появление его на свет произвело на родителей впечатление не совсем обыкновенное.

Миша был еще во чреве матери, а родители уже устраивали его будущее, спорили о предстоящей ему карьере и ни одной минуты не сомневались, что у них родится именно сын, а не дочь. Анна Михайловна, с легкомыслием женщины, пророчила, что сын у нее будет военный; напротив того, Семен Прокофьяч изъявлял надежду, что Мише суждено со временем сделаться "министерским пером".

-- Ему, матушка, карьеру надобно делать, а не мостовую гранить, -- говорил будущий отец, -- а потому мы отдадим его в такое заведение, где больше чинов дают.

Затем, рассчитавши, что Миша, пойдя по этой дороге, осьмнадцати лет уже может быть титулярным советником и что производство из коллежских регистраторов в титулярные советники, за выслугу лет, потребует не менее десяти лет, Нагорнов прибавлял:

-- Даже теперь можно уже сказать, что наш Михайло Семенович состоит на службе на правах канцелярского чиновника, кончившего курс в уездном училище!

Нагорновы были люди простые и добрые и, как муж, так и жена, принадлежали к очень почтенному чиновничьему роду. "Мы искони крапивные!" -- шутя говаривал Семен Прокофьяч и отнюдь не скорбел о том, что в ряду его предков не было ни князя Тарелкина, который был знаменит тем, что целовал крест царю Борису, потом целовал крест Лжедмитрию, потом целовал крест Василию Ивановичу Шуйскому, и которому за все эти поцелуи наконец

выщипали бороду по волоску; ни маркиза Шассе-Круазе, который был знаменит тем, что в одном нижнем белье прибежал из Парижа в Россию и потом, в 1814 году, вполне экипированный, брал Париж вместе с союзниками. Отец Семена Прокофьевича уже умерший, служил советником в управе благочиния; отец Анны Михайловны, по фамилии Рыбников, находился еще в живых и служил архивариусом в одном из министерств, но так как имел генеральский чин, то назывался не архивариусом, а управляющим архивом.

Обе семьи жили чрезвычайно дружно и по воскресеньям обыкновенно собирались за обедом у Нагорновых, а так как у Анны Михайловны было еще три сестры-девицы, то в небольшой квартире начальника отделения бывало довольнолюдно и шумно. Это были единственные дни, когда Нагорнов весь отдавался отдохновению, не скреб с утра до ночи пером и даже позволял себе партикулярные разговоры. Скромный обед разнообразился праздничной кулебякой с сигом, которую все ели с тем аппетитом, с каким обыкновенно едят люди очень редкое и лакомое блюдо, и которая каждое воскресенье давала повод для одного и того же неизменного разговора.

-- Я пятьдесят лет на свете живу, и, благодарение моему богу, никогда из Петербурга не выезжал (и батюшка и дедушка безвыездно в Петербурге жили!), и за всем тем все-таки могу сказать утвердительно, что этой рыбки да еще нашей корюшки нигде, кроме здешней столицы, достать нельзя! Вот в Ревеле, говорят, какую-то вкусную кильку ловят -- ну, той, в свежем виде, никогда не видал, а чего не видал, о том и спорить не стану! -- беседовал Семен Прокофьич, тщательно выскребывая ножом с тарелки соринки рыбы и капусты и отправляя их в рот.

-- В Шлюшине, сказывают, этого сига множество! -- возражал Михайло Семеныч Рыбников.

-- Помилуйте, батюшка! какой же в Шлюшине сиг! Ладожский ли сиг или наш невский!

-- Ну, да и кусается же этот невский сижок! -- вставляла свое слово Анна Михайловна, -- Зина! Евлаша! Леля! сестрицы! что ж вы! с

сижком! -- обращалась она к сестрам, которые, в качестве сущих девиц, не были свободны от некоторого жеманства.

-- Они у меня скромницы! -- шутил старик Рыбников, -- при людях не едят, а вот после обеда на кухню заберутся, так уж там и с сижком, и с кашкой, и с рисцем... пожалуй, и платья-то расстегнут!

Сестрицы слегка зарумянивались, а остальные присутствующие заливались добродушным хохотом.

Затем разговор переходил к жареному гусю, по поводу которого тоже высказывалось мнение, что против петербургского гуся никакому другому не устоять.

-- Слышал я, -- говорил Нагорнов, -- будто в Москве, в Новотроицком трактире каких-то необыкновенных гусей подают, да ведь это славны бубны за горами, а мы поедем нашего, петербургского!

-- У нас гуси лапчатые! -- замечал, в свою очередь, старик Рыбников, вновь возбуждая во всей компании веселый смех.

После обеда старцы уединялись в кабинете и попыхивали копеечные сигары, прислушиваясь к женскому стрекотанию, немолчно раздававшемуся в спальней, и изредка перебрасываясь замечаниями.

-- Так так-то, батюшка, ваше превосходительство! -- говорил Семен Прокофьич.

-- Да, есть тово... немного! -- отвечивал, позевывая, Михайло Семеныч.

И таким порядком проходило воскресенье за воскресеньем, без всякой надежды, чтоб в эту жизнь когда-нибудь проникнул свежий, живой элемент.

Только в середине пятидесятих годов, когда русская жизнь как будто тронулась, воскресные обеды Нагорновых несколько оживились, ибо каждую неделю являлась какая-нибудь новость, которая задевала за живое и о которой трудно было не потолковать.

-- Вот и марки почтовые проявились! и инспекторский департамент упразднен! -- сообщал Семен Прокофьич, относившийся, впрочем, к реформам с большой благосклонностью, а что, ведь ежели теперича все сообразить, сколько в течение одной прошлой недели переформировано, так я думаю, что даже самого обширного ума на такую работу неостанет!

-- Это вам, молодым людям, в диковинку эти реформы-то! возражал старик Рыбников, -- а у меня, брат, в архиве все эти реформы как на ладони видны -- во как! За какую связку ни возьмись, во всякой какую-нибудь реформу сыщешь!

-- Ну, нет, батюшка! Это не так! прежде на бумаге-то города брали, а теперь настоящее дело пошло! Я сам в комиссии о распространении единомыслия двадцать лет членом состоял -- и что ж! сто один том трудов выдали, и все-таки ни к какому заключению прийти не могли! Потому -- рано было! А теперича разом весь этот материал и двинули! Возьмем хоть бы почтовые ящики -- какое это для всех удобство! Написал письмо, пошел в департамент, опустил мимоходом в ящик -- и покоен! Нет, как же можно! Только бы, с божьего помощью, потихоньку да полегоньку, да без революций!

-- Давай бог! давай бог!

Но скоро и о почтовых ящиках разговоры исчерпались, или, лучше сказать, они сделались такими же скучными и вялыми, как и разговоры о пироге с сигом. И вдруг, в это серенькое затишье, в эту со всех сторон запертую и ничем не смущаемую среду ворвалось что-то новое, быть может когда-то составлявшее предмет заветнейших мечтаний, но давным-давно уже, за давностию лет, оставленное и позабытое... Анна Михайловна совершенно неожиданно оказалась беременною, и вот, в одно из воскресений, Семен Прокофьич следующею речью встретил своего тестя:

-- Подобно тому как древле Захария, священник Авиевой чреды, на склоне дней своих...

-- Ну, брат, исполать! -- не дал докончить ему обрадованный Рыбников, -- молодец! где же она? где же Анюта?

-- А вот и самая она Елизавет! -- как-то блаженно улыбаясь, ответил Семен Прокофьич, указывая на выходящую из спальни Анну Михайловну, которой щеки на сей раз алели уже не от одних хлопот по приготовлению пирога, но и от той сладкой застенчивости, которую ощущает всякая женщина, готовящаяся в первый раз подарить своей стране гражданина, -- сего числа особа эта утвердительно может сказать: взыгра младенец во чреве моем!

-- Ну, брат, не ждал! Молодец! молодец, Анюта! и ежели теперича внук... вы непременно Михаилом его назовите!

-- Что будет мне сын, а вам внук -- в этом я никакого сомненья не имею, потому что в моей фамилии никогда женского пола не было, да и вообще, по всему оно так видимо! Ну, и Михаилом мы его тоже назовем: пускай будет такой же достойный Михаиле Семеныч, как и тезоименитый его дед!

В этот день обед был как-то особенно торжествен и оживлен. Радость прокралась в эту скромную, тесную столовую и осветила ее лучом своим. Лица расцвели и покрылись словно гляncем; груди вздымались под наплывом наполнявшего их блаженства; глаза застилались туманом счастья и неизреченной веры в какое-то сладкое, светлое, полное всевозможных благ будущее.

-- Батюшка! откушайте-ка пирожка! Сегодня мы и поедим и попьем! У меня, батюшка, сегодня праздника праздник, торжество из торжеств! -- говорил Семен Прокофьич, -- на склоне дней моих... Анюта! друг мой! не тревожься!

-- Да, брат, теперь надо вам подумать... и крепко подумать! Потому что ежели ему теперича хорошее начало положить, так это, брат, на всю жизнь пойдет!

-- Я, батюшка, уж все обдумал. Анюта сначала предлагала в конную гвардию его определить, но теперь, благодарение богу, мы так общими силами порешили: отдать нашего младенца в такое заведение, где больше чинов дают!

-- Это, брат, правильно, потому что без чинов тоже нельзя. Хоть и поговаривают об уничтожении, а я так полагаю, что никогда им скончанья не будет!

-- И мы проживем, и дети наши, с божьего помощью, проживут, и никто чинам конца не увидит! А вы, сестрицы, как полагаете? по штатской или по военной пустить нашего Михайлу Семеньча?

Сестрицы, в качестве сущих девиц, вместо ответа конфузливо катали из хлеба шарики.

-- Они, брат, у меня штатские! в архиве воспитание получили! -- шутил Рыбников.

-- Ну, и слава богу! Я, батюшка, так думаю, что первее всего следует достигать, чтоб перо у него хорошее было и чтоб на начальство он правильный взгляд имел. Потому что, ежели при нынешнем стремительном направлении да еще хорошее перо... можно заранее поручиться, что он каждого начальника уловить будет в состоянии!

-- Да; перо... хоть оно и гусиное...

-- Я по себе, батюшка, знаю, что значит "перо". Теперича, у меня начальник всего только одно слово и может говорить, да и то не для всех вразумительно, однако я это слово понимаю, а потому он мною и дорожит. Мало того: иное время он даже слово-то, которое знает, высказать тяготится, только лоб морщит, а я все-таки понимаю!

-- Все равно что иероглиф!

-- Иероглиф -- это так точно. Только надобно к этому иероглифу ключ иметь, а как скоро его имеешь, то прочая вся приложатся. А что бы я сделал, кабы пером не владел!

С этих пор воскресные беседы получили иной характер. Несмотря на то что героем являлся все один и тот же нетерпеливо ожидаемый Михайло Семеньч, в разговорах явилось какое-то неистощимое разнообразие. Старики были рады не сказанно и строили предположения за предположениями. Конечно, проскакивали между ними и не совсем радостные. Припоминалась, например, тяжелая, трудная молодость, припоминались характеры начальников и как трудно было ладить с ними. Но эти мгновенные тени тотчас же рассеивались перед твердой уверенностью, что Миша непременно будет скромный, работающий и в то же время

талантливый малый, который легко овладеет тайнами "пера", а следовательно, сумеет поработить всякого начальника.

-- С начальником, батюшка, только ладить надо уметь, -- говорил Семен Прокофьевич, -- а как скоро его обладил, то поезжай на нем без опасности!

-- Я, брат, таких начальников видал, что даже поноску носить были готовы! -- подтверждал Рыбников.

-- И даже с удовольствием-с. Потому что начальник -- он в себе помощи не находит, ну, и обращается к подчиненному! и уж рад-рад, коли его кто выручить может!

Одним словом, ввиду ожидаемого нового человека, допускалось даже легкое кощунство, ибо не было возможности устроить желанным образом его судьбу без того, чтобы как-нибудь не потеснить других. Что Миша во что бы ни стало должен создать себе карьеру -- это стояло вне всякого сомнения; а может ли он достигнуть этого иначе, как сделавшись необходимым кому-нибудь из сильных мира сего? Очевидно, не может, потому что у него нет ни блестящих связей, ни знатной родни, ни денег. Стало быть, он должен понравиться, а понравиться он может лишь в том случае, когда сильный мира настолько беспомощен, что не может без Миши ни шагу ступить. Тогда только этот сильный, но беспомощный найдется в необходимости, в отплату за избавление его от беспомощности, поделиться с своим избавителем хотя одним куском того бесконечного пирога, около которого неотступно кишат мириады закусывателей, и как ни стараются, а все не могут окончательно доконать его. И Миша несомненно додержится до этого куска и будет, как и все прочие, глодать и сосать его, потому что было бы даже несправедливо предоставить это право людям, которые могут только "морщить лоб", и лишать его человека, которому известны все тайны "пера"...

Под шумок этих мечтаний и предположений Анна Михайловна, с своей стороны, деятельно готовилась. Сестрицы ежедневно бегали в квартиру Цагорновых, где, кроме них, появилась еще новая гостья, в лице повивальной бабки, Христины Карловны Либеффрау. Женщины не выходили из спальни и неустанно между собою шушукались,

кроили, шили, перебирали старые рубашки Семена Прокофьяича и рвали их. Результатом этой суеты было то, что еще за месяц до родов в квартире начальника отделения появилась детская кроватка и везде лежали вороха всякого белья.

Наконец, в один морозный декабрьский день, предчувствия заботливых родителей насчет того, что у них непременно будет сын, а не дочь, осуществились самым буквальным и блистательным образом: в этот день Михаиле Семеныч Нагорнов увидел свет.

-----

Нет надобности рассказывать, как шло первоначальное воспитание Миши. За ним ухаживали, его мыли и пичкали все, начиная от Анны Михайловны с сестрицами и кончая Семеном Прокофьяичем и стариком Рыбниковым. В доме его называли не иначе, как Михаилом Семенычем, и все до единого глядели ему в глаза, хотя Семен Прокофьяич, по временам, и высказывал какую-то особенную воспитательную теорию, которая явно клонилась к ущербу Миши. Теория эта была, впрочем, не новая и заключалась в том, что всякого младенца, для его же пользы, необходимо направлять на путь истинный посредством лозы.

-- Да, это так! -- говорил он тоном непреложного убеждения, -- исстари уж так оно повелось, да и по себе я знаю, что человеку без розги даже человеком сделаться невозможно.

-- Это ангела-то божья! Это радость-то нашу! -- накидывалась на него Анна Михайловна, -- так тебе и дали! да ты ошалел, в департаменте-то сидючи!

-- Я не об Михаиле Семеныче речь веду, а вообще, с теоретической точки зрения дела обсуждаю! Вы, женщины, серьезного разговора вести не можете, потому что с вами даже об создании мира если заговоришь, так вы и тут свои тряпки и шиньоны сумеете приплести! Об Михаиле Семеныче -- не знаю, а вообще -- оно так! Даже государственные люди -- и те это средство на себе испытывали!

Но Миша, как бы подозревая коварные подходы отца, рос так тихо и благонаравно, что решительно не давал ни малейшего повода к применению мер строгости. Едва начал он лепетать, как обнаружил

необыкновенную понятливость и ласковость. Он так трогательно повторял утром и вечером: "Спаси, господи, папеньку, маменьку, дедушку, тетенок, начальников, покровителей и всех православных христиан", и так мило при этом картавил и сюсюкал, что сердца родителей таяли от удовольствия. Четырех лет он знал наизусть "Отче наш" и "Все упование мое", аккуратно после обеда и чаю целовал ручки у папаши и мамыши и каждое воскресенье непременно сопровождал Семена Прокофьяча к обедне. Трудно было не радоваться на этого милого ребенка, когда он, совершенно готовый в путь, вбегал в кабинет отца и торопил его в церковь.

-- Папа! скорее! звонят! -- кричал он своим звонким детским голосом.

-- Сейчас, душенька! трезвонить еще будут!

-- Мне, папаша, ждать нельзя! я часы слушать хочу!

С каким-то особенным чувством гордости и блаженства шел Семен Прокофьяч по Малой Подъяческой, ведя за руку сына, который истово и солидно переступал за ним своими маленькими ножками.

-- Ваш-с? -- спрашивали его встречавшиеся по дороге другие начальники отделений, которыми особенно изобилует эта местность.

-- Сам делал! -- шутил Семен Прокофьяч, -- вот какого пузыря вырастил! -- По гражданской части пустить намерены?

-- В департамент, батюшка, в департамент! Сначала в заведение отдадим (без этого нынче нельзя), а потом и на большую дорогу поставим!

И затем, в течение целого обеда, непременно шла речь о Мише, о его необыкновенном благонравии и набожности.

-- Даже затормошил меня! -- повествовал Семен Прокофьяч, -- "часы", говорит, слушать хочу!

-- А намеднись, -- хвасталась Анна Михайловна, -- просто даже удивил! "Мама, говорит, купи мне ризу!" Я спрашиваю: зачем тебе, душенька? -- "А я, говорит, дома каждый день обедню служить буду!"

-- Что ж! Это недорого стоит! -- вступался старик Рыбников, -- погоди, Михаиле Семеныч, я тебе уже ризу подарю, да уж и камилавку кстати состряпаем -- служи себе да послуживай!

И действительно, к величайшей радости Миши, у него вскоре явились и риза, и камилавка, и вырезанное из бумаги кадило. Запасшись этими принадлежностями, он целые дни расхаживал по комнатам, размахивая кадилом и во весь свой детский голос выкрикивая: аллилуйя!

Чем более вырастал Миша, тем благонравнее и понятливее он становился. Когда на восьмом году его усадили за грамоту, то оказалось, что он ловит азы и склады на лету. И что всего важнее, не только с быстротою усваивает себе грамоту, но в то же время смотрит учителю в глаза и в рот. Словом сказать, и в этом случае он обнаружил такую ласковость, что даже учитель (дешевенький из кантонистов) был уязвлен ею до глубины души и никогда не отзывался родителям об Мише иначе, как с волнением.

-- Это такой, -- восклицал он, -- такой, доложу вам... ну, просто такой-с...

-- Ну, и слава богу! -- говорила Анна Михайловна с блаженной улыбкой.

-- Нет-с, вы себе представить не можете! Это такой-с... это, можно сказать, гордость-с... Это просто именно...

Родители радовались и приглашали учителя в воскресенье отведать кулебяки с сигом.

Природа дала Мише понятливость; благонравие дала ему среда, или, лучше сказать, квартира, в которой он воспитывался. Эта квартира была совершенно своеобразная, так сказать, не самостоятельная, а служившая продолжением департамента. Обстановка, в которой жило семейство Нагорновых, вовсе не говорила о том, что тут живут люди, которые бьются со дня на день и думают только о том, как бы спастись от нищеты. Напротив, здесь виделась даже известная степень изобилия и запасливости. Но за всем тем на всем лежала такая печать наготы, монотонности и безрадостности, что свежий человек, без всяких посторонних

внушений, понимал, что позволю себе хозяин хотя на пядь отступить от самой строгой аккуратности -- и вся эта запасливость разлетится в прах. Все было пригнано и урезано так, чтобы жизнь вращалась только около необходимого, не позволяя себе никакого уклонения в сторону, а тем менее баловства. Если на мебели можно сидеть -- ну, и слава богу; если в подсвечник можно вставить свечу -- вот все, что требуется. Вся роскошь заключалась в чистоте и в той казенной симметрии, с которой была расположена каждая вещь. Казалось, что эту квартиру когда-то обмобилировали, засадили туда каких-то людей, не совсем арестантов, но и не совсем неарестантов, и потом закупили со всех сторон, с тем чтобы туда никогда не проникала струя свежего воздуха. Затем постепенно образовалась какая-то кисленькая атмосфера, к которой живущие в ней так приюхались, что уже не обнаруживали ни малейшего поползновения освежиться. Эти люди отмеривали время с такою же безучастною объективностью, с какою аршинник меряет материю: вот отмерено двадцать четыре аршина, потом предстоит отмеривать еще двадцать четыре аршина, потом еще, а там гроб -- и конец отмериванию. Вне стен квартиры -- все было неизвестность и мрак. Внешний мир наполнен подводных камней, опасностей и обид. Попробуй-ка сунься выйти на улицу -- как раз наскочишь на сорванца, который или язык тебе покажет, или архивной крысой обзовет, или просто до смерти замистифирует. А дома, между тем, тепло и уютно; знаешь, где какая вещь лежит, ни на что не наткнешься и уж, конечно, не поскользнешься на пространстве каких-нибудь пяти-шести сажен. Стало быть, жить следует таким образом: как можно больше прижиматься к стороне, никого не затрогивать и твердо знать, в какие часы какая обязанность предстоит, не смешивая и тем более не допуская легкомысленной забывчивости.

Быть может, этот безрадостный склад жизни возбуждал когда-то в сердце смутный ропот, но с течением времени он так всосался в плоть и кровь, что сделался второю природой. Ни Семена Прокофьяча, ни Анну Михайловну даже не порывало никуда: не только в гости или в театр, но просто прогуляться. Они выходили из квартиры только по нужде: он -- в департамент, она -- на рынок, и забыли даже о возможности каких-либо других отлучек. За все последнее время Семен Прокофьяч только два раза вышел

прогуляться, да и тут не обошлось без неприятностей. В первый раз налетел на него какой-то сорванец, объявил себя старым знакомым, очень искусно выпытал, что у Семена Прокофьяча была приятельница, какая-то Катерина Прохоровна, уверил, что она умерла, и в ту самую минуту, когда старик Нагорнов вошел во вкус, стал охать и ахать, -- показал ему язык и убежал. В другой раз налетел другой сорванец, снял шляпу, перекрестился и поцеловал его прямо в орден Святыя Анны, который Семен Прокофьяч очень тщательно и не без некоторого хвастовства расстилал у себя на груди. Все это было обидно и больно, все убеждало сидеть дома и как можно реже переступать за порог его.

В такой атмосфере Миша невольно складывался благонаравным, аккуратным, усидчивым и почтительным ребенком. С самой ранней юности слух его все чаще поражали два слова: служба и департамент. С утра до вечера он слышал разговоры о департаменте, в которых сосредоточивалось все: и сетования, и радости, и надежды, и предвидения будущего. Спрашивал ли он утром, куда папаша собирается, -- ему отвечали: в департамент. Кто в передней дожидается с портфелем? -- курьер привез бумаги от директора департамента. Чему папаша радуется? -- ему привезли орден из департамента. Отчего папаша встревожен? -- он боится, чтоб его не обошли в департаменте наградой. Начинал ли он резвиться шумливее обыкновенного -- его останавливали фразой: не шуми, не мешай папаше, у него завтра доклад в департаменте. В скрипе пера, в шелканье косточками счетов, раздававшемся по вечерам в тиши отцовского кабинета, в той торопливости, с которою подавался обед по приходе отца, -- везде слышался департамент.

Даже когда Семен Прокофьяч заваливался после обеда всхрапнуть на диване, и тогда невольно приходило на ум: так может храпеть только человек, намаявшийся утром в департаменте! Одним словом, было очевидно, что папаша был прикреплен к департаменту таинственной пуповиной, которую ежели разорвать, то папаша изойдет кровью, а за ним следом изойдет кровью и все то, что раз навсегда заперто в этой квартире.

Правда, что представления Миши о департаменте еще были довольно фантастичны. Он не понимал действительной

департаментской организации, а скорее представлял ее себе в виде какого-то загадочного царства теней. Войдя в это царство, папаша перестает быть папашей, сохраняет только крест на шее и, окруженный Васильем Прохорычем, Авдеем Дмитричем, Алексеем Иваннычем и Владимиром Николаичем (так назывались столоначальники Нагорнова), витает в пространстве, созерцая лицо директора и непрестанно славословя пред ним. Но вот пробило четыре часа -- и видения исчезают. Папаша снова делается папашей, надевает пальто и вместе с прочими воплотившимися тенями, словно из темной трубы, выползает из-под арки Главного штаба. Через минуту все пространство от Малой Миллионной до Подъяческих наполняется бледными, изнуренными лицами, на которых читается одна настоятельная мысль: пора водку пить!

Но как ни фантастичны были эти мечты, важно было то, что в мозгу Миши уже внедрилась идея департамента. Департамент-- это целое будущее; департамент -- это глухой переулок, из которого можно выйти только назад по Большой Морской в Подъяческую. Департамент -- это сама неизбежность, это шхера, около которой как ни лавируй, все-таки никак не минешь, чтобы не наткнуться на нее.

-- И благодетельная шхера-с! тут не разобьешься, а слаще, чем в наилучшей гавани отдохнешь! -- объяснял Семен Прокофьич, когда кто-нибудь позволял себе выразить в его присутствии хоть какое-нибудь сомнение насчет живительных свойств департамента.

Или:

-- Ты попробуй-ка сунься в другом месте поискать -- ан тут остутился, в другом месте промах дал, а в третьем и вовсе оказался негодным! А в департаменте-то, как у Христа за пазушкой! дело у тебя постоянное, верное... как калач! Не только никаких выдумок от тебя не требуют, но даже если бы Ты и горазд был на выдумки, так запрет тебе на них положат! Пиши! округляй! а выдумывать предоставь прощелыгам да проходимцам. Так-то-с!

Благодаря такой обстановке Миша незаметно научился смотреть на родительскую квартиру как на продолжение департамента, на отца -- как на ходячий осколок департамента, и даже на самого себя как на дитя департамента.

-- А скоро, папаша, я в службу пойду? -- часто приставал он к Семену Прокофьичу.

-- Вот, душенька, выучишься, а там с богом и на службу! Вместе будем лямку тянуть!

-- И мундир мне, папаша, дадут?

-- И мундир дадут, и крест дадут... все как у папаши! Будь только прилежен да благонравен, а начальство уж наградит!

Слушая такие речи, Миша усугублял рвение и, никогда не теряя из вида департамента, с какою-то восторженностью зубрил: "Города, стоящие на Волге, суть: Ржев, Зубцов, Старица, Тверь, Корчева и т. д."

-- А чем замечателен город Лаишев? -- по временам испытывал его отец.

-- Лаишев, уездный город Казанской губернии, стоит при реке Волге, имеет собор и рыбные ловли.

-- Ну, а город Свияжск, например?

-- Свияжск, уездный город Казанской губернии, стоит при слиянии реки Волги и Свияги, имеет собор и рыбные ловли.

-- Ну, а город Чебоксары?

-- Чебоксары, уездный город Казанской губернии, стоит на реке Волге, имеет собор и рыбные ловли.

-- Да так ли, полно? что-то ты уж очень сходственно говоришь!

-- Это так точно-с, Семен Прокофьич! -- вступался учитель, -- Михайле Семеныч наш не слукавит-с! Это такой ребенок... такой, доложу вам, ребенок-с...

И шли дни за днями, укрепляя в Мише веру в ожидающее его департаментское будущее и обогащая его ум познаниями. Наконец, Ветлуги, Мценски и Новосили неизгладимыми буквами навсегда утвердились в его памяти. Мише минуло двенадцать лет. Это был срок, в который заранее назначено было отдать его в "заведение".

-----

"Заведение", в которое поступил Миша Нагорнов, имело специальностью воспитывать государственных младенцев. Поступит в "заведение" партикулярный ребенок, сейчас начнут его со всех сторон обшлифовывать и обгосударствливать, -- глядишь, через шесть-семь лет уж выходит настоящий, заправский государственный младенец.

Государственный младенец тем отличается от прочих людей вообще и от людей государственных в особенности, что даже в преклонных летах не может вырасти в меру человека. Вглядитесь в его жизнь и действия -- и вам сразу будет ясно, что он совсем не живет и не действует, в реальном значении этих слов, а все около чего-то вертится и что-то у кого-то заимствует. Или около человека, или около теории, вообще около чего-то такого, что с ним, государственным младенцем, не имеет ничего общего. В низменных слоях общества это свойство обнаруживается с особенною наглядностью. Очень часто вы встречаете малого лет сорока, пятидесяти, которому совершенно развязно говорят:

-- Федя! возьми, брат, там на столе рублевую и беги в лавку за икрой!

Или:

-- Федя! слетай, брат, к Ивану Иванычу, скажи ему, что нам без него жить невозможно!

Федя берет рублевую, бежит в лавку, приносит фунт икры и без утайки двадцать копеек сдачи. И вы чувствуете, что никому из zde предстоящих подобного приказания отдать нельзя, а Феде можно. Быть может, у Феде седина в бороде пробивается, быть может, у него есть жена и дети, а его все-таки посылают в лавочку за икрой, и ему не приходит даже в голову протестовать против подобного помыкания. Почему? -- а потому просто, что он не вырос и никогда не вырастет в меру человеческого роста, потому что он не живет, не поступает, а вертится и гоношит.

В высших сферах это состояние вечного младенчества выступает не так рельефно, во-первых, потому, что человек-планета, около которого вертится человек-спутник, не всегда бывает для простого глаза видим, а во-вторых, потому, что если человек-планета и

видим, то он заявляет о своем присутствии в более мягких формах. Сколько спутников имели и имеют, например, такие планеты, как Меттерних, Наполеон, Бисмарк и другие? Сколько спутников имели и имеют другие, еще более таинственные планеты, как, например: неуклонное исполнение обязанностей, строгость, натиск, нелицеприятное применение правосудия и так далее? -- На эти вопросы ни один мудрец даже приблизительно не ответит. Стоит начертить круг, дать ему название системы или принципа, чтобы в этом круге появились мириады вечных недорослей, которые, по первому манию, и в лавочку за икрой побегут, и подслушать не прочь, а в случае крайности даже из ружья выпалить готовы.

-- Федя! подслушай!

-- Опасно!

-- Да ты не толкуй, а пойми, что тебе говорят: надо подслушать!

А у Феде тем временем уж и морду перекосило от усердия и натуги; он только для острастки, для вида протестовал, а на самом деле уж даже смекнул, как эту штуку устроить.

-- Надо это дельце умненько сделать, -- говорит он, -- вот разве...

И начинает развивать целый план, один из тех планов, которые всегда как-то разом рождаются в головах недорослей, не богатых инициативой, но изобилующих всевозможными исполнительными каверзами. Ему и боязно, и в то же время он сознает, что не подслушать для него никак невозможно. Подобно выдрессированному зайцу, приближается вечный недоросль к взведенному курку ружья, дрожа всем телом, хватается зубами за веревочку, спускает курок... и прежде чем ружье успеет выпалить, падает в обморок. Кажется, тут есть все: и отвращение к огнестрельному оружию, и страх и даже обморок, а все-таки он спустит курок и в этот, и в другой, и в миллионный раз, потому что этого требует от него система, это предписывает человек-планета: Меттерних, Наполеон III, Бисмарк...

Миша Нагорнов с самых ранних лет обнаруживал готовность вертеться и быть вечным недорослем. Уже дома он умел смотреть старшим в рот и в глаза и знал, когда следует поцеловать в ручку и

когда -- в плечо. В "заведении" этим благонадежным зародышам было суждено распуститься в пышный цвет. Он не просто слушался, а слушался с удовольствием, с радостью. Глаза его при этом блестели, рот улыбался, сердце билось; одним словом, все его существо принимало благодарное участие в подвиге послушания. Это был даже не подвиг для него -- это было требование его природы. Он понимал надзирателя с одного слова и всегда шел дальше этого слова, то есть отгадывал сокровенную его мысль, доканчивал ее и комментировал в ущерб себе и на пользу послушанию. Несмотря на общий довольно высокий уровень благонравия в заведении, Миша даже между благонравными был благонравнейшим. Он вовсе не был смирен в банальном значении этого слова; нет, он был даже резов, но это была та милая, откровенная резвость, которая так по сердцу воспитателям и которая свидетельствует о всегда открытом сердце воспитываемого.

"Нагорнов ведет себя и учится хорошо не потому, что этого требуют уставы заведения, а потому, что ему приятно учиться и вести себя хорошо", -- говорили об нем начальники и, высказывая эту истину, обнаруживали несомненную проницательность и знание человеческого сердца, не всегда начальству свойственное.

-- Я, мамаша, не понимаю, как можно быть последним в классе! -- на первых же порах сообщил он Анне Михайловну -- нас в классе тридцать три человека, а всегда как-то так случается, что я и по наукам, и по поведению первый!

-- Это оттого, что ты слушаешься, душенька!

-- Я, мамаша, не то чтобы боялся чего-нибудь, а так... приятно! Вот у нас один ученик Погорелов есть, так тот тоже все уроки знает, а все-таки никогда первым не будет! Во-первых, он сидит на задней лавке, а у нас, мамаша, кто хочет первым быть, должен сидеть на передней лавке, чтоб его всегда видели... Потому что, согласитесь сами, мамаша, ежели бы я, например, сидел на задней лавке, мог ли бы учитель видеть, что я всегда готов отвечать?

-- Само собой, мой друг.

-- Или вот тот же Погорелов: ведет-ведет себя хорошо -- да вдруг и нагрубит!

-- Ты, душенька, с мерзавцами-то не связывайся!

-- Я, мамаша, ни с кем не связываюсь, у кого баллы дурные. Потому я не знаю... мне кажется, что с ними мне не об чем говорить!

И действительно, ему не об чем было говорить с теми непослушными, вечно глядящими в лес детьми, экземпляры которых, несмотря на обшлифованное, все-таки нередки в заведениях. Не то чтобы он преднамеренно обегал их, но природе его был положительно противен протест, которого они были вместительным. "Послушание" нашло в нем себе полнейшее осуществление. Он был резв без угловатости, смирен без уныния, и притом резв и смирен именно тогда, когда это как раз сходилась с уставами заведения. Он вовсе не был произведением дрессировки, насильственным образом заставляющей пригибаться под гнетом известных требований; он представлял собой непосредственное олицетворение самого устава. Он инстинктом угадывал, когда следует быть резвым и когда следует быть смиренным. В часы резвости он был даже резвее и шумливее других, но для устава это было не только не оскорбительно, но даже очень приятно. Что означает резвость ребенка? -- она означает, что ребенок доволен собою, своими воспитателями, "заведением", всею обстановкой. Она означает, что в ребенке играет благодарное сердце, что он с спокойной совестью обращается к своему невинному вчерашнему дню и с светлым доверием взирает на свой невинный завтрашний день. Такая подкладка резвости восхитительна даже в том случае, если она выражается несколько шумно. Миша знал это и потому в назначенные для резвости часы бегал рысью, скакал галопом, кувыркался, оглашал рекреационную залу криком, и при этом никогда не приходило ему в голову скрыться из района губернерского наблюдения. С своей стороны, и воспитатели любовались его резвостью, ибо видели, что дитя не повесничает, а резвится, и резвится -- потому что оно довольно и исполнено доверия.

-- Nagornoff, mon ami! vous etes tout en nage! allons, reposons-nous, mon enfant! {Нагорнов, мой друг, вы весь в поту! пойдём отдохнем, дитя мое!} -- говорил ему мсье Петанлер, и говорил таким голосом, в

котором явственно звучала нота бесконечного благожелательства к милому ребенку.

Нагорнов хватал эту ноту на лету и, прекратив кувыркание, садился невдалеке от мсье Петанлера и делался смирным. Но не принужденье виделось в его глазах, а удовольствие, внушаемое сознанием, что его усадили именно в ту самую минуту, когда ему самому приходило на мысль, что следует сесть. Пройдет десять минут, он простынет, и мсье Петанлер, конечно, скажет ему:

-- Allons, mon ami! amuser-vous donc! Que diable! a votre age il ne faut pas rester toujours serieux! {Порезвитесь же, друг мой! В вашем возрасте не следует быть всегда серьезным!}

И Миша опять начнет играть в веревочку, прыгать, скакать -- и все от души.

Так шло "поведение" этого мальчика; так же шли и "науки". Он понимал, когда следует учиться и когда следует слушать. В часы репетиции он весь уходил в учебник, зажимал себе уши, мерно качался всем корпусом и, изредка выпрямляясь, с каким-то гордо-довольным видом произносил фразу из учебника, вроде: "раздался звук вечеревого колокола -- и дрогнули сердца новгородцев", или: "les Novogorodiens disaient oui, et disaient oui et perdirent leur liberte"{Новгородцы такали, такали и лишились свободы.}

-- Филимонов! -- обращался он к своему товарищу по лавке, -- почему Карамзин сказал: "раздался звук вечеревого колокола" и "дрогнули сердца новгородцев", а не "звук вечеревого колокола раздался" и "сердца новгородцев дрогнули"?

-- А почему я знаю! я у него в голове не был!

-- Чудак! потому что так сильнее! "Раздался!", "Дрогнули" -- тут натиск есть. Надо, чтобы именно эти, а не другие слова сразу поразили читателя!

И затем он опять весь уходил в учебник, зажимал себе уши и мерно покачивался всем корпусом.

Но во время классов тетрадки и книги всегда лежали перед ним закрытыми. Подобно фокуснику, производящему опыты магии на

ничем не покрытом столе, он, казалось, говорил учителю: смотри! я беспомощен! ни под лавкой, ни на лавке у меня ничего нет, а попробуй-ка спросить меня! И учитель понимал это и как бы магнитом влекся к Нагорнову. Вызывает, например, русский учитель:

-- Господин Осликов! "Осел и Соловей" -- какая это часть речи?

-- Глагол-с.

Миша Нагорнов мгновенно весь просветляется и ест учителя глазами.

-- Извольте спрягать!

-- Я осел и соловей, ты осел и соловей, он...

Осликов умолкает, замечая, что учитель подставил ему ножку. Нагорнов просветляется больше и больше.

-- Господин Нагорнов! объясните господину Осликову, какая часть речи "Осел и Соловей"?

-- "Осел и Соловей" -- это заглавие одной из самых нравоучительных басен дедушки Крылова. Это не часть речи, а соединение трех слов, из которых два: "осел", "соловей" -- суть имена существительные, а третье "и" -- союз.

-- Садитесь, господин Нагорнов, а вы, господин Осликов... И так далее.

Одним словом, между воспитателями и учителями, с одной стороны, и Нагорновым -- с другой, образовалась непрерывная симпатия, и что всего важнее, образовалась совершенно естественно. Но за всем тем, Миша не подольщался и не шпионствовал, -- качества, которые особенно не нравятся товарищам. Он и в этом смысле мог бы считаться образцом, потому что угадывал сущность устава не только по отношению к начальству, но и по отношению к товариществу. Он сразу поставил себя таким образом, что никто ни в чем не мог его обвинить. Всякий видел, что Миша чист, как хрусталь, что он не предумышленно хорошо ведет себя и учится, а потому что иначе вести себя и учиться не может. Часто он даже помогал ленивым и тупым, -- объясняя перед классом урок, переводя

заданный отрывок из "De viris illustribus" {"О знаменитых мужах"}, решая математические задачи и проч., но ни подсказывать, ни иным образом фальшивить не соглашался ни за что. Он даже лавку выбрал такую, на которой сидели юноши разумные, не нуждавшиеся в подсказываенье, и был бесконечно счастлив, что может без помехи всецело предаваться почтительному и радостному услезиванию за выражением глаз и рта учителя.

-- Подлец ты, Нагорнов! -- брякнет от времени до времени Осликов, в устах которого слово "подлец" не имело, впрочем, никакого сознательно ругательного значения, -- "Солитер" (так звали в "заведении" учителя русской грамматики по причине неимоверно длинного его роста) капкан в некотором роде человеку ставит, а тебе и горя мало. Еще радуется, высказывает!

-- Послушай, душа моя! -- ответит Нагорнов, -- не могу же я, наконец! Чем же я виноват, что Амплий Васильевич ко мне обращается?

И Осликов удовлетворяется этим объяснением, ибо, в сущности, сам сознает, что Нагорнову нельзя иначе и что, с другой стороны, и "Солитеру" тоже ничего иного не остается, как обратиться за разрешением вопроса не к кому другому, а к Нагорнову, у которого от природы все разрешения на лице написаны.

Когда в заведении происходили так называемые "истории", никто из товарищей никогда не мог наверное определить, участвовал ли в них Нагорнов или уклонился от участия. Скорее всего, что в такие торжественные минуты об нем совсем переставали думать. Как-то само собой разумелось, что Нагорнову тут быть не для чего, что это совсем не его дело. Тем не менее, приготавлиаясь к "истории", от него не скрывались и свободно развивали перед ним проекты классных возмущений, не опасаясь, что он сошпионит. И действительно, он не только не шпионил, но, заодно с другими, выносил на себе последствия "историй".

-- Eh bien, Nagornoff, mon ami! nous savons parfaitement que vous n'avez pas pris part dans cette vilaine histoire! Soyez donc sincere, mon enfant! Racontez-nous, comment cela s'est passe! {Ну-с, Нагорнов, мой друг! мы превосходно знаем, что вы не принимали участия в этой

нехорошей истории! Будьте же искренним, дитя мое! Расскажите нам, как это произошло!} -- уговаривал его мсье Петанлер, залучив куда-нибудь в уединенную комнату.

-- Pardonnez-moi, monsieur, j'ai ete coupable comme les autres! {Извините, мсье, я виновен, как и другие!} -- отвечал Миша, то краснея, то бледнея под гнетом насилия, которое он должен был сделать над собой, чтобы наклеветать самому на себя.

-- Vous mentez, mon ami, vous qui ne mentez jamais! Prenez garde, cher enfant! n'entrez pas dans cette voie pernicieuse qui a deja gate la carriere de maint jeune homme! {Вы лжете, мой друг, вы, который никогда не лжет! Берегитесь, дорогое дитя! Не вступайте на этот гибельный путь, который испортил карьеру многих молодых людей!}

-- Je vous assure, monsieur, que je ne mens pas! {Уверяю вас, мсье, что я не лгу!}

Нагорнова отпускали, но он явственно слышал, как мсье Петанлер, хотя и ничего от него не добившись, все-таки вслед ему говорил: va, genereux jeune homme! {иди, благородный молодой человек!}

Таким образом, даже самые "преступления" не только не пятнали его, но даже служили на пользу, сообщая ему, в понятиях начальства, оттенок чего-то рыцарского.

-- Так как я не могу верить, чтобы воспитанник Нагорнов участвовал в вашей недостойной шалости, то, лишая весь класс отпуска в следующее воскресенье, я для господина Нагорнова делаю исключение! -- сказал однажды инспектор, после одной из подобных историй.

Но Нагорнов твердою стопой вышел из рядов и решительно произнес:

-- Позвольте и мне разделить участь моих товарищей!

Инспектор ласково взглянул на него, потрепал по щеке и, прошептал: "Toujours le meme! toujours bon et genereux!" {Все такой же! все такой же добрый и благородный!} -- проследовал в свои апартаменты.

Просьба первого ученика была удовлетворена, и он разделил участь своих товарищей.

Анну Михайловну такие истории всегда приводили в волнение. Во-первых, они лишали ее случая видеть Мишу в воскресенье дома, и во-вторых, она, как женщина, постоянно трепетала, как бы Миша как-нибудь в солдаты не угодил.

-- Какие-нибудь негодяи, мерзавцы кашу заварят, -- жаловалась она, -- а наш терпи! Их домой не пускают -- и нашего не пускают! их в солдаты -- и нашего в солдаты!

Но защитником Миши в этих случаях являлся сам Семен Прокофьевич.

-- Что касается до солдат, то ты это чересчурхватила, -- говорил он, -- а относительно товарищества вот что скажу: товарищей тоже выдавать не следует. Почему знать, кто чем в будущем сделается? Может, прохвостом, а может, и с неба звезды хватать станет! Ты его теперь выдашь, а он в свое время тебе припомнит: а помнишь ли, скажет, любезный друг, как я перед учителем дубина дубиной стоял, а ты в ту пору надо мной фривольничал? Так-то вот.

-- Все же таки...

-- И все-таки ничего. Без ума головорезничать наш Михайло Семеныч не станет -- не таков он у нас, -- а держаться около товарищей полезно и нужно, -- это я всегда скажу. Нынче такое время, что не знаешь, с кем говоришь и к кому завтра! под начало попадешь. Уж я на что старик -- и то берегусь. Сегодня он по тротуару гремит, а завтра он начальником над тобой будет. Ты ему сегодня, покуда он по тротуару гремит, сгрубил, а завтра он тебя в бараний рог согнет... Вот тут и угадывай!

Соображения эти несколько успокоивали Анну Михайловну, и едва успевали отобедать, как она уже летела в "заведение", завернув в салфетку пирог с сигом, до которого в эти дни, разумеется, никто не дотрогивался. И умиление ее возрастало до крайних пределов, когда сам Петанлер, узнав о ее приезде, подходил к ней и говорил:

-- Ваш сын, сударыня, -- это утешение родителей, слава заведения и гордость товарищей!

-----

Судебная реформа произвела в "заведении" необыкновенное, почти отуманивающее действие, особливо с той минуты, когда на деле последовало открытие новых судов, и ученики увидели их лицом к лицу. Витии гремели, присяжные заседатели глядели беспомощно и метались словно в предсмертной агонии; судьи старались казаться бесстрастными. В публике ходили слухи о каких-то баснословных кушах, о каких-то компаниях, составляющихся с целью наипоспешнейшего ободрания клиентов. Говорили, что из Москвы нарочно приезжал какой-то грек и предлагал разостлать по всей России такую паутину, чтобы ни один клиент не мог миновать ее, а раз попавшись, не мог бы из нее выпутаться.

-- Позвольте, однако ж, -- спорили в публике, -- ежели всех клиентов сразу умертвить, -- что ж останется в будущем?! Ведь это значит подрывать будущее!

-- Какое там еще будущее! -- отвечали спорщикам, -- во-первых, клиент бессмертен: сегодня умерщвлен один, завтра народится другой; во-вторых, ежели переведется клиент, разве нельзя фабрикацией гороховой колбасы заняться или по железнодорожной части куски рвать? Тут, батюшка, каждая минута дорога!

Повествовали, что такой-то взял с клиента тридцать процентов, такой-то уготовал себе место председателя конкурса с фельдмаршальским жалованьем, так что все доходы с имени несостоятельного должника должны будут пойти на удовлетворение расходов по конкурсу...

Но суды открывались постепенно, потому что "людей не было"; адвокатские ряды пополнялись тоже медленно, тоже потому, что "людей не было". До тех пор были только звери, у теперь понадобились люди. Но для людей, если таковые находились, ворота были отворены настежь; будь только человеком -- и можешь быть обнадежен,

Что под каждым здесь листом

Ты найдешь и стол и дом...

Карьера! Это слово спирало в зобу дыхание. Прежде карьера была вещь относительно трудная, достижимая только для некоторых, "особливою знатностью отличающихся людей". Худородный человек должен был употребить невероятные усилия, чтобы добраться до пирога. Сколько нужно было съесть грязи! сколько перецеловать плечиков! сколько поставить банок к пояснице, наболевшей и словно помертвевшей под гнетом ожиданий в приемных, передних и канцеляриях! Алчущий пирога, предварительно допущения к нему, должен был проглотить шпагу, съесть раскаленный железный орех, запить стаканом дегтя и т. д. Теперь -- пирог стоял ничем не защищенный, при открытых дверях, и всех приглашал насладиться. "Все приидите! все насладитесь! Всякий да яст!" И тот, кто пришел в шестом часу, и тот, кто пришел в девятом часу! Лишь бы был человек! Жри!

Человек! Но где же клеймо, с помощью которого можно было бы отличить человека от тысячеглавого змия? На первых порах многие затруднялись этим вопросом и вследствие того робели рекомендоваться в качестве людей. Но вскоре одумались и начали действовать вольным духом. В самом деле, кто же тот юродивый протец, который, облизываясь на пирог, скажет о себе: хотелось бы мне отведать сего пирога, но, к сожалению, я не человек! Не правильнее ли предположить, что даже тот, кто воистину не человек, скорее скроет это печальное обстоятельство, нежели публично поведаст об нем, добровольно воздерживаясь от пирога? В древние времена юродивым было довольно трудно скрыть свое юродство, ибо тогда люди ходили с лампадами: погаснет лампада, навоняет -- значит, нет тебе царства небесного. Нынче и тут облегчение: юродивый без лампады ходит и, следовательно, имеет возможность напакостить с гору, прежде нежели наполнит вселенную зловонием...

Таким образом, люди нашлись...

И что за карьера предстояла им! С одной стороны -- лестная обязанность защищать общество от поползновений преступной воли, обязанность, сопровождаемая прекраснейшим содержанием и

надеждами на блестящее будущее, в случае оправдания начальственного доверия. С другой -- лестная обязанность ограждать невинного, защищать поправное право собственности, -- обязанность, сопровождаемая тысячными кушами, пением, танцами, увеселительными прогулками с Деверией, Шнейдершей, а, пожалуй, хоть и с целым персоналом любого кафешантана...

-- Ты что получил за такое-то дело?

-- Да что! всего пять тысяч! не стоило руки марать!

-- А я через год думаю лавочку закрыть! Нарботаю тысяч двести -- триста -- и на боковую!

Такого рода разговоры слышались везде, да других (по крайней мере, в течение первого, горячего времени) и не было... Рестораны переполнены; шампанское льется рекой; облитые потом татары бегают, не слыша под собою ног; ассигнации мелькают в воздухе, как мухи в жаркий летний день... Кто сии ликующие, стремящиеся затмить своим ликованием ликование железнодорожных деятелей? Это они, это вчерашние рыбаки, это сегодняшние ловкачи-ташкентцы, отведавающие отечественного пирога!

Специалисты по части убийств, специалисты по части личных оскорблений и купеческих самодурств, специалисты по части скопчества, специалисты по части бракоразводных дел -- все посыпалось словно из рога изобилия. Пальты, сапоги, саквояжи, ситцы, люстрины... пожалуйста, господин! к нам пожалуйста!

Жрать!!!

Рубль, выглядывающий из кармана ближнего-простеца, мешает спать. "Зачем тебе, простофиля, рубль? зачем ты зажал его в руке? -- разожми! Я возьму этот рубль, зажгу его на свечке и закурю им сигару!"

Дальше рубля взор ничего не видит. Ни общего смысла жизни, ни смысла общечеловеческих поступков, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Все сосредоточилось, замкнулось, заклепалось в одном слове: жрать!

Естественно, что этот неистовый клич, немолчно раздававшийся по стогнам города, не мог не взволновать воображения птенцов "заведения". В этом кличе открывалась своего рода система, новый круг, в котором им суждено было вертеться, и они ринулись туда с головой. Птенец, у которого вчера другой мысли не было, кроме: "раздался звук вечерового колокола", сегодня, пользуясь праздничным днем, уже намечает на Невском чистокровный рыжий экземпляр, и не без уверенности говорит себе: "моя!" Слыша, что происходит в мире больших, каждый птенец сознает себя человеком, ибо каждый понимает, что в нем имеется достаточный запас юркости и способности, чтобы вместе с другими кричать: лови! не задерживай талии! следующий! следующий!

Но если "птенцы" были взбудоражены, то родители, в свою очередь, от полноты чувств могли только произносить: ах! Они смотрели на своих подростков, представляли себе, что ждет их в будущем, и говорили: ах! Они шли по Невскому, встречались с камелией, и их осеняла мысль, что, может быть, через год эта самая камелия (увы! нынче родители уже и об этих детских удобствах пекутся!)... ах! Проходя мимо Елисеева, Дюссо, Бореля, они восклицали: ах! Даже на художественную выставку смотрели какими-то плотоядными, завидующими глазами... Только бы поскорее, только бы курс кончить, а что все эти Елисеевы, Борели, кокотки, художники будут в наших руках -- в этом нет сомнения! За это ручается врожденная юркость "птенцов", их способность кричать всегда и при всяком случае: лови! не задерживай!

Подобно другим, Миша Нагорнов ходит как отуманенный. Он ропщет на бога и на людей за то, что ему еще два года предстоит маяться в "заведении". Он чувствует себя уже готовым, то есть настолько же юрким, как X. или Z., давно уже приобревшие себе титул "ловкачей". Он даже пробовал однажды свои силы: переоделся в штатское платье и под именем "аблаката" Иванова явился в камеру мирового судьи защищать дело "о излишне затребованном за котлету четвертаке".

-- И защитил! -- говорил он, весь пылая, собравшимся вокруг него товарищам, -- ах, господа! вы представить себе не можете, какое это чувство!

В "заведении", вместо баров, игры в веревочку и пятнашки, завелась игра в суды. Явились судьи, прокуроры, адвокаты. Присяжные заседатели избирались из учеников младшего класса на том основании, что они, как дети, должны были сохранить совесть во всей неприкосновенности. Обвинялся обыкновенно ленивейший из учеников, Осликов, на том основании, что ему, как неспособному и притом сыну очень бедных родителей, не предстоит в будущем никакой блестящей карьеры, а следовательно, и готовиться не к чему, кроме скамьи обвиняемых. Обвиняли его в самых разнообразных преступлениях, так что если б сложить их все вместе и показать ему эту массу злодейств в яркой картине, то даже он, несмотря на свою непонятливость, понял бы и пришел бы в ужас от неключимости содеянного им.

Едва пробил звонок, возвещающий рекреацию, как уже ученики бегут в зал и торопливо садятся по местам. Слышится сдержанный говор; Осликов уже засел на скамью подсудимых и окидывает товарищей безучастным взглядом; защитник Тонкачев вбегает запыхавшись, как будто сейчас только перехватил в буфетной, и наскоро перелистовывает бумаги. Он изредка обращается к Осликову и шепчет ему, настолько, однако ж, громко, что передние ряды публики слышат: смотри же, болван, показывай, как я учил. Я тут за тебя распинаться буду, а ты, пожалуй, сдурубрякнешь!.. По другую сторону залы сидит обвинитель Нагорнов, которого открытая физиономия блещет сладкою уверенностью, что вот-вот сейчас этого самого Осликова он без масла проглотит. Суд намеренно мешкает. Присяжные заседатели вздыхают и рассуждают о том, нельзя ли как-нибудь отпроситься. Наконец влетает судебный пристав (тоже из ленивых) и возглашает: суд идет! Все встают и молча ожидают, куда судьи усядутся.

Некоторое время судьи шепчутся. Они понимают, что судьям необходимо совещаться, хотя бы они сейчас только вышли из совещательной комнаты. Судья потому и судья, что он никогда не может всего предвидеть, и потому всегда должен совещаться. Наконец шептанье оканчивается; председатель, ученик старшего класса Кнабенвурст, вынимает бумажки с именами присяжных. Он делает это так опрятно, как будто показывает фокусы. "Смотрите,

господа! -- так, кажется, и говорит он, -- вот полтинник, но вы можете быть уверены, что, покуда он находится в этих руках, он никогда не превратится ни в полуимпериал, ни даже в целковый!" Присяжные заседатели выбраны и начинают отлынивать.

-- Помилуйте, ваше превосходительство, я сижу в мелочной лавочке -- кто же теперича за меня сидеть будет! -- отговаривается один.

-- Я даже не понимаю, каким образом позволили себе привлечь меня... я в государственной службе состою! -- удивляется другой.

-- Я и по домашности-то моей даже самого простого обстоятельства рассудить не могу! -- оправдывается третий.

Суд шепчется и оставляет все отговорки без последствий. Заседатели вздыхают и, понутив головы, садятся на лавке вблизи прокурора. Один из них немедленно притворяется спящим.

На сей раз Осликов является в роли отставного солдата Дорофеева и обвиняется в краже со взломом. Но он ни в чем не сознается.

-- Ничего я этого, ваше превосходительство, не знаю. Я человек слабый, пьяный! -- говорит он.

-- Расскажите же нам, как все это было! -- настаивает тем не менее председатель.

Защитник Тонкачев вскакивает как ужаленный.

-- Ввиду такой-то статьи такого-то тома и такой-то статьи таких-то правил, запрещающих домогаться от обвиняемого признания, -- говорит он, -- я требую, чтобы мое заявление было записано в протокол.

Суд снова шепчется.

-- Ввиду сейчас приведенных защитником законов, -- говорит наконец председатель, -- подсудимый! вы можете не сознаваться! Это ваше право! Защитник! настаиваете ли вы на том, чтобы ваше заявление было записано в протокол?

Защитник расшаркивается и говорит, что данным подсудимому правом не сознаваться он удовлетворен даже превыше своих

желаний. Он видит теперь, что перед ним действительно суд скорый, милостивый и правый...

-- Приступим же к выслушанию свидетелей.

Показания свидетелей отличаются сбивчивостью и неопределенностью. Потерпевшая сторона, содержатель ночлежной, Савелий Потапов, не может утвердительно сказать, точно ли найденный у Дорофеева грош принадлежал ему, Потапову.

-- Мой будто зубом покусан был, а этот новый, -- говорит он.

Прокурор вскакивает и пронизывает Потапова взглядом.

-- Так вы точно помните, что у вас накануне грош был?

-- Да, это точно... был! Был грош -- это верно.

-- Этого для меня достаточно-с!

Прокурор что-то отмечает карандашом на бумаге; защитник, в свою очередь, нечто записывает. Другой свидетель показывает:

-- Это точно, что он возле меня на нарах лежал...

-- Так вы точно помните, что он лежал? Это не показалось вам? вы подтверждаете это и теперь? -- допекает прокурор.

-- Лежал -- это верно! Рядом легли -- рядом и встали!

-- Этого для меня совершенно достаточно!

-- Если для обвинителя этого достаточно, то для меня...встает с своего места защитник, но председатель прерывает его, говоря, что он в свое время может сказать все, что находит нужным в защиту подсудимого.

-- Я прошу занести в протокол мое заявление, что защита не свободна! -- настаивает Тонкачев.

Председатель шепчется и объявляет, что защита может, если желает, сделать нужное, по ее мнению, замечание.

Тонкачев встает, расшаркивается и заявляет, что он отлагает замечание до произнесения защитительной речи. Тем не менее он считает своим долгом с гордостью заявить, что видит перед собой суд

скорый, милостивый и правый, который наверное отнесется к его несчастному клиенту с тою же гуманностью, с какою относился и к его собственным заявлениям...

Наконец перекрестный допрос кончился. Слово за прокурором. Миша Нагорнов несколько бледен, но глаза его так и пронизывают. Голос его сначала дрожит, но потом постепенно делается тверже и тверже, и под конец начинает словно отчеканивать.

"Господа судьи! господа присяжные заседатели! -- говорит он. -- Пятнадцатого июня, на Сенной площади, совершилось преступление, не яркое по своему внешнему выражению, но яркое по своей сущности; преступление, доказывающее с очевидностью, до какой степени недостаточны и слабы в нашем обществе понятия о праве собственности. Я не стану, господа присяжные, доказывать вам, как необходимо, чтобы в обществе существовали твердые понятия о собственности; вы сами принадлежите к почетному сословию собственников и лучше меня можете понять, какие важные последствия сопряжены для общества и для вас с сохранением этой твердыни, на которой зиждется благополучие государств и народов. Криминалисты на счет этот единогласны: общество, не признающее собственности, -- говорят они, -- подобно стаду диких зверей, из которых каждый стремится растерзать другого. Этого, я полагаю, совершенно достаточно, чтобы помочь вам встать на ту высоту, на которой следует стоять при обсуждении предстоящего нам дела. Итак, в июне 18\*\* года, на Сенной площади, здесь в Санкт-Петербурге, так сказать, в центре промышленного движения, почти под глазами полицейского надзора, совершено дерзкое преступление. В ночь этого числа, в одну из ночлежных квартир, которыми изобилует эта мрачная местность, пришел ночевать отставной солдат Дорофеев, а на другой день утром, когда хозяин квартиры, Савелий Потапов, проснулся и, по своему обыкновению, пошел в сундук, то сундук этот оказался распертым, замок у сундука сломанным, пробой сорванным. При этом считаю долгом обратить ваше внимание, господа присяжные, на следующее обстоятельство, к которому я впоследствии обращусь. Обстоятельство это заключается в том, что до того времени Дорофеев почти каждый день посещал

ночлежную Потапова, но дней за пять поссорился с хозяином и до пятнадцатого числа ночевать к нему не ходил.

Такова, милостивые государи, фабула преступления. Спустимся же с факелом правосудия в дебри преступления и постараемся осветить их. Но прежде чем идти далее, я должен объяснить вам, господа присяжные, значение так называемых косвенных улик.

Что такое косвенная улика? Это такой признак преступления, который хотя сам по себе не имеет никакого значения, но, будучи сопоставлен с другими, тоже не имеющими собственного значения, признаками, будучи рассматриваем, так сказать, в связи с целым рядом такого же рода признаков, составляет совершеннейшее доказательство. Предположим, например, что в городе совершено убийство. Убит Z., которого видели, как он вчера в таком-то часу вечера выходил из кабака вместе с X., и о котором с тех пор никто ничего не слышал. Вот это-то обстоятельство, что X. вышел из кабака вместе с Z., и есть первое звено в цепи косвенных улик, которыми впоследствии поражен будет X. Взятое отдельно, оно, конечно, ничего не значит. X. мог выйти вместе с Z. из дверей кабака, но, пройдя по улице несколько шагов, они могли разойтись в разные стороны -- совершенно исключить такого рода возможность нельзя. Но тут начинается ряд последующих улик. Во-первых, у X. найдена на руке царапина. И эта улика, конечно, сама по себе недостаточна, ибо X. мог оцарапать руку случайно, ему могла оцарапать ее кошка и так далее. Но вот является вторая улика: на ногах у X. найдены сапоги убитого, которые были на последнем в то время, когда его видели в кабаке; это уже значительная прибавка к сумме улик, хотя сама по себе и она все-таки ничего не значит. Мало ли каким образом мог приобрести X. сапоги Z.? Он мог купить их, мог поменяться с ним, мог, наконец, выпросить! Все это далеко не невозможно. Но здесь на помощь является третья улика: X. не может объяснить употребление своего времени между моментом выхода вместе с Z. из кабака и моментом, когда Z. найден мертвым на улице. Вы скажете, что и этот факт не имеет решительного значения; вы скажете, что X., под влиянием винных паров, мог забыть, где он был, что он мог забыть это по рассеянности, что он, может быть, провел это время в предосудительном месте и ему не

хочется в том сознаться? Я первый со всем этим согласен, господа присяжные, но потому-то и убеждаю вас: обращайтесь внимание не на каждую косвенную улику в отдельности, а на их совокупность. Совокупность -- это уже не отдельная какая-нибудь улика, но целая, так сказать, совокупность, или, другими словами, ряд улик, взаимно друг друга проверяющих и подтверждающих!

Совокупность -- это единственное орудие, которое имеет правосудие для борьбы с злом! Зло уклончиво и лукаво, господа присяжные; оно совершает свои деяния в темноте ночи; оно окутывает их мраком, составляет для них искусственную обстановку, обманывает, замечает следы! Но здесь-то именно и настигает его недремлющее око правосудия! Ежели ты там не был, то где же ты был? ежели ты не помнишь, где был, то почему у тебя на руке царапина? Каким образом очутились на твоих ногах чужие сапоги? И так далее, и так далее покуда, наконец, из всех этих мелких и, по-видимому, ничтожных признаков не образуется *совершеннейшее* доказательство!

Вот эту-то "совокупностью улик" и намерен воспользоваться я относительно лица, сидящего пред вами на скамье обвиненных.

Первая косвенная улика -- это самый сундук, который был вам предъявлен. Он носит на себе все признаки взлома, и, конечно, сам подсудимый не будет столь смел, чтоб утверждать, что он в таком виде вышел из рук творца.

Взлом существует -- это факт!!

Но взлом сделан не просто для взлома, а с преступною целью воспользоваться чужою собственностью -- это тоже факт!! Еще вечером пятнадцатого июня 18\*\* года Потапов считал себя обладателем двоих старых пестрядинных портов, одной почти новой рубашки и монеты, называемой в простонародье семишником. Утром, шестнадцатого числа, этих вещей у него не стало. Они исчезли, испарились, улетучились -- все, что угодно, но только исчезли со взломом, с помощью сломанного всячего замка и сорванного пробоя! Это вторая косвенная улика!

Зачем Дорофеев пришел к Потапову? Защита, быть может, скажет, что таково было обыкновение Дорофеева, что квартира Потапова

была ночлежным домом, в котором каждую ночь ночевало множество лиц! Но, во-первых, господа присяжные, к словам защиты вообще следует относиться с некоторым недоверием. Защита *заинтересована* в оправдании своего клиента (сильное движение со стороны Тонкачева (ого!); председатель с беспокойством смотрит на Мишу, но последний, не смущаясь, продолжает); скажу более: от этого оправдания зависит самое материальное обеспечение защиты (Тонкачев вскакивает)... Но прекратим, однако же, этот разговор, который -- я сознаю -- не всем может здесь нравиться... Итак, продолжаю. Во-вторых, говорю я, почему же Дорофеев пришел ночевать к Потапову именно в ту самую ночь, когда у последнего совершена кража... кража со взломом, господа присяжные! Или тут есть игра природы? или чудесное какое-нибудь стечение обстоятельств? Мы охотно согласились бы с этим предположением, если бы не жили в просвещенном девятнадцатом веке, когда вера в чудеса уже значительно утратила свою силу! Да, господа присяжные, тут нет ни игры природы, ни чуда, а просто-напросто есть третья косвенная улика!

Чтоб доказать, что тут нет никакого чуда, нам не нужно даже ссылаться на просвещенное время, среди которого мы живем. Мы так легко, самыми обыкновенными средствами, можем распутать эту кажущуюся случайность, что она даже в ваших глазах, господа присяжные, утратит всякое право претендовать на название случайности. И действительно, следствие с полной ясностью раскрывает нам, что перед этим Дорофеев кряду пять дней не ночевал у Потапова, а имел приют у другого ночлежника, Кузьмы Герасимова. Почему так? -- на этот вопрос следствие отвечает прямо: Дорофеев был во вражде с Потаповым, и именно поссорился с ним за пять дней перед кражею, и именно из-за той почти новой рубахи, которая, как я сказал выше, вместе с прочим имуществом исчезла в ночи пятнадцатого июня 18\*\* года. За пять дней перед тем Дорофеев просил Потапова продать ему означенную выше рубашку; Потапов соглашался, но просил пятьдесят копеек; Дорофеев давал только сорок. Торг не состоялся, но злоба запала глубоко в сердце Дорофеева. Он уже тогда не мог сдержать ее, и при посторонних людях сказал Потапову: погоди ж ты! Во сколько же раз должна была возрасти эта злоба в течение последующих пяти дней! Не

забудьте, господа присяжные, что Дорофеев человек неразвитый, человек нрава грубого, человек, которого ежеминутно должна была точить мысль об этой почти новой рубашке, на которую он, по-видимому, давно уже смотрел завистливыми глазами! В виду этого соображения, ссора Дорофеева с Потаповым является уже не просто четвертой косвенной уликой кражи со взломом, но и уликой *преднамеренного* ее совершения!

Но идем дальше. Свидетель Онуфриев утверждает, что сам слышал, как Дорофеев чиркал спичкою, чтоб добыть огня, а свидетель Прохоров прямо показал, что, лежа подле Дорофеева, он очень отчетливо слышал, как последний ворочался с боку на бок. Свидетельства подавляющие! Тем не менее Дорофеев возражает против них и, смею так выразиться, с невозмутимою наглостью утверждает, что он добывал себе огня и ворочался на нарах, потому что хотел идти за естественной надобностью! Позволяю себе, однако ж, думать, господа присяжные, что вы оцените это объяснение, как оно того заслуживает. Как! и здесь является эта всегдашняя бесчестная уловка людей, промышляющих темным и опасным ремеслом незаконного стяжания! И вы поверите ей! Вещь неслыханная ("chose inouie")! Этих людей как-то всегда обуревают естественные надобности именно в те минуты, когда им предстоит привести в исполнение их темные глубоко обдуманые замыслы! Естественная надобность! что может быть законнее этой причины!! Но, спрашиваю я вас, разве Дорофеев был в первый раз в этом доме, чтоб не иметь полной возможности удовлетворить своей надобности без помощи огня? Разве он не знает всех входов и выходов? не знает, как расположена всякая нара, как нужно пройти, чтоб достигнуть желаемого? Нет, он знает все это; он не знает определительно только одного: где стоит хозяйский сундук, тот сундук, который ему предстоит взломать. И вот, пользуясь темнотою ночи, уверенный, что ночлежники, после тяжкого трудового дня, заснули сном, который позволяю себе назвать непробудным, он зажигает спичку и идет. Куда идет? что хочет совершить? -- он не рассказывает нам об этом. Но мы... мы уже угадываем его преступные намерения! Мы следили шаг за шагом за его действиями, и позволяем себе думать, что у нас прибавилась еще пятая косвенная улика, и притом такая,

которая, кроме кражи со взломом, свидетельствует еще и о нераскаянности обвиняемого.

Наконец, и еще улика -- шестая: у Дорофеева на другой день, утром, при обыске, найден был за голенищем сапога семишник. Конечно, Дорофеев утверждает, что эти две копейки составляют его собственность, -- но где ж доказательства справедливости этого показания? Кто видел, что у Дорофеева вечером пятнадцатого числа 18\*\* года были эти две копейки? И почему у него оказалось именно две, а не три, не пять, не десять, не двадцать копеек? Опять игра случая! Странная это игра, господа присяжные! выгодная для подсудимого, но которую, благодаря вашему просвещенному суду, ему положительно придется на будущее время оставить! Правда, что сам Потапов показывает, что бывший у него семишник *будто бы* покусан зубом, между тем как монета, найденная у Дорофеева, имеет вид совершенно новый. Но можно ли верить Потапову, потерпевшему от преступления? Почему не предположить, что им овладело сострадание к своему старинному квартиранту? что он, давая сбивчивые показания, действовал под влиянием угроз, внушений, мольбы? Но вас, господа присяжные, подобные колебания в показаниях потерпевшей стороны не должны останавливать; или лучше сказать, на вас они должны иметь силу совершенно в обратном смысле. Вы должны сказать себе: эти колебания не больше, как колебания; а за ними стоит неоспоримая, неопровержимая и со всех сторон непререкаемая истина, которую я позволяю себе формулировать следующим образом: вчера пропало две копейки, сегодня -- найдено тоже две копейки. Ни больше, ни меньше.

Вы спросите, может быть: где же другие вещественные доказательства, исчезнувшие из сундука вместе с семишником? где двое старых пестрядинных портов? где почти новая рубашка? где носовой платок, о котором, по незаявлению претензии со стороны потерпевшего лица, обвинение может только догадываться? На это я могу отвечать одно: не знаю. Но в то же время позволяю себе предложить следующую догадку. Ежели означенного имущества не оказалось у Дорофеева, то не значит ли это, что он его спрятал? Отсутствие вещественных доказательств разве всегда равносильно

несуществованию их? Нет, в большей части случаев, тут не только нет тождества, но есть даже доказательство совершенно противоположного. Поймите меня, господа присяжные! Когда человек боится показать какую-нибудь вещь, то ему ничего другого не остается, как спрятать ее, -- это аксиома. Следовательно, ежели мы не находим искомого, даже после самого тщательного обыска, произведенного у преступника, то это еще не значит, что искомого у него нет, а означает только, что он имел основания *тщательно* от нас его скрыть. Таково мое внутреннее, глубокое убеждение.

Я кончил, господа присяжные. Вы знаете изречение: да будет суд правый и милостивый, и, конечно, постараетесь не односторонне, но всесторонне отнестись к предстоящему вам подвигу. Пусть будет ваш суд правым и *милостивым*, но в то же время, пусть будет он милостивым и *правым*. Пусть над преступником прострется ваше милосердие, но в то же время пусть кара, достойная преступления, настигнет его! Тогда, и только тогда вы будете на высоте вашего призвания, и докажете враждебным элементам, неустанно подтачивающим священнейшие основы общества, что милосердное око правосудия не дремлет. Оно не дремлет, милостивые государи, хотя оно *око*, а не *глаза*! Единственное око -- но и тому вы не дадите сомкнуть вежды! Какое величественное зрелище, милостивые государи!"

В зале проносится смутный говор: речь обвинителя произвела эффект. Нагорнов, красный и запыхавшийся, опускается на стул. Однако, несмотря на изнеможение, он еще находит в себе достаточно силы, чтоб послать через зал вызывающий взгляд Тонкачеву. В публике слышится вопрос: вывернется или провалится Тонкачев?

Тонкачев, очень чистенький мальчик, с виду похожий на *jeune premier* (он уже в старшем классе и заранее усваивает себе все замашки заправских адвокатов из породы *jeunes premiers*). Он очень развязно помахивает *rinse-nez* и без малейшего смущения, даже с некоторою дерзостью, начинает защитительную речь. Ядовитость и ирония так и брызжут в каждом его слове.

"Господа судьи! господа присяжные! Прежде всего считаю своею обязанностью отдать полную справедливость обвинению.

Старательность и усердие, с которым оно составлено, заслуживает величайшей похвалы. Скажу более: я совершенно уверен, что никогда, ни перед одним судом не было сказано столь усердной обвинительной речи, как та, которую вы сейчас слышали. Господин прокурор знает, что ежели материальное обеспечение адвоката зависит от оправдания клиента, то, с другой стороны, почести, которые ждут впереди каждого члена прокуратуры, отчасти обуславливаются успехом..."

Миша, весь бледный, вскакивает с своего места и дрожащим голосом произносит:

-- Господа судьи! я протестую! я всеми силами моей души ("de toutes les forces de mon ame", -- мелькает у него в голове) протестую против инсинуации, которую позволяет себе защита!

Судьи шепчутся; в зале обнаруживается сдержанное волнение.

-- Защитник! приглашаю вас оставаться в пределах защиты! -- произносит, наконец, председатель.

"Господа судьи! я вовсе не имел намерения оскорблять кого бы то ни было; я хотел только сказать, что для защиты иметь дело с противником, который так старательно оправдывает доверие своего начальства, -- очень приятно.

Затем продолжаю, и ежели обвинение, как выразился господин прокурор, попыталось "спуститься с факелом правосудия в дебри преступления", то я, с своей стороны, постараюсь с тем же факелом спуститься в дебри обвинения и водрузить знамя освобождения в развалинах невинности.

Вещь замечательная, господа ("chose remarquable, messieurs!"-- мелькает у него в голове)! Перед вами сейчас говорил один из лучших представителей нашего обвинительного искусства; вы слышали речь, продолжавшуюся более получаса, речь, старавшуюся быть убедительною, и, по-видимому, построенную очень искусно..."

Миша судорожно подскакивает на стуле; глаза его бегают от председателя к защитнику. Наконец председатель вновь выходит из бездействия.

-- Приглашаю защитника, -- говорит он, -- воздержаться от оценки талантов господина прокурора. Оценивать эти таланты имеет право лишь непосредственное его начальство.

"Но что же осталось в вашем сознании, господа присяжные, теперь, когда речь прокурора уже произнесена? Разберите внимательнее вынесенные вами сейчас впечатления, и, наверное, вы найдете вынужденными ответить на мой вопрос только одним словом: ничего. Да, ничего, ничего и ничего. Это очень прискорбно, но это так. Я первый отдаю справедливость ораторским средствам моего противника, его непреоборимому усердию, и за всем тем очень рад за моего клиента, что единственный ясный результат, который вытекает из речи прокурора, -- это "ничего"!"

Нагорнов хочет вновь обидеться; председатель, видя это, начинает есть защитника глазами; еще одно лишнее слово -- и Тонкачеву угрожает прекращение защиты.

"Вам говорят, милостивые государи, что никаких прямых улик, которые доказывали бы, что преступление, о котором идет речь, совершено обвиняемым Дорофеевым, в виду обвинительной власти не имеется. Я охотно этому верю. Так как мой клиент невинен, то было бы даже странно, если бы против него были какие-нибудь действительные, а не мнимые доказательства. Что же, однако, привело его сюда, на скамью обвиненных? А вот, говорят вам: против него существуют улики косвенные. Это очень любопытно. Что же такое эти косвенные улики? К, величайшему удовольствию нашему, ответ на этот вопрос дает само обвинение. Косвенные улики, говорит оно, это те самые, которые ничего не стоят. Это обрывки чего-то неясного, неизвестно откуда идущего, это подслушанные сплетни досужих кумушек, это беспорядочная сорная куча, из которой торчат обглоданные арбузные корки, лоскутки бумаги, кухонные остатки, -- одним словом, все, что никому не нужно, чем всякий гнушается, между чем ни под каким видом нельзя отыскать не только внутренней, но и механической связи...

Господа присяжные! Во всем этом скрывается целое искусство, и искусство не очень важное, но, во всяком случае, очень замечательное. Искусство играть ничего не значащими объедками,

чтобы воспользоваться ими в интересах обвинения. Чтобы показать вам, что игра подобного рода не только возможна, но и легка, я сейчас приведу вам несколько образчиков.

Следствие показывает, например, что обвиняемый не был *тут*; обвинение хватается за этот факт и уже формулирует его так: обвиняемый не был *тут*, следовательно, он был *где-нибудь*, следовательно, и *конечно*, он был там, *где совершено преступление*. Вот один образчик игры в косвенные улики. Каким образом очутилось здесь "конечно" -- этого, *конечно*, не объяснят даже знаменитые духи, советовавшие господину Корбе в такую-то ночь посильнее взволновать госпожу Алымову. (В публике раздается: браво! Председатель грозит очистить залу заседания.) Другой образчик: накануне пропало две копейки, сегодня найдено тоже *две* копейки; *следовательно*, это те самые *две* копейки, которые пропали вчера. Откуда взялось это *следовательно*? разве мало находится в обращении двухкопеечников? Пусть прокурор заглянет в свой собственный кошелек! Пусть поищет в нем! Быть может, он найдет там такой же семишник, этот *salaire* {заработок.} бедного, к которому он с таким презрением относился. (Миша вскакивает, безмолвно протестуя против приписываемой ему аристократической гадливости!) Почему же этот двухкопеечник, который в сию минуту находится в кошельке господина прокурора, -- не тот двухкопеечник, который в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое июня 18\*\* года пропал у Потапова?

Но я не хочу идти далее и не стану продолжать вопросов по каждой из указанных обвинением улик. Это бесполезно. Ведь это дело решенное: само обвинение заранее объявило, что каждая из этих пресловутых улик, взятая сама по себе, не стоит ломаного гроша...

Но вам говорят: важность заключается не в каждом признаке преступления, взятом в отдельности, а в их совокупности! Совокупность! Какое страшное, подавляющее слово! Что же, однако, означает оно? Увы! Я сейчас буду иметь честь объяснить вам, господа присяжные, что оно означает.

Возьмите арбузное зерно, прибавьте к нему несколько хлебных крох, подсыпьте перцу, налейте уксусу, коли хотите, бросьте несколько обрезков бумаги -- и спросите себя, что из этого может выйти? Обвинение утверждает, что из этого выйдет арбуз (в публике смех), но я... я позволяю себе усомниться в этом! Я прямо думаю, что это будет смесь предметов, которые, не имея никакой ценности, взятые порознь, еще менее имеют таковой, взятые вместе! Это совсем не "совокупность", а именно смесь, жалкая, никому не надобная смесь...

Тем не менее изобретенный господином прокурором арбуз (новый взрыв смеха в публике; Миша делается красен, как раскаленное железо), при известных условиях, делается настолько опасным, что равнодушно относиться к нему невозможно. Так, например, в настоящем случае, это уже не арбуз, а разрывной снаряд, который мог бы убить моего клиента, если бы судьба его зависела от суда менее просвещенного и гуманного, нежели ваш. Но ведь он мог бы убить не одного моего клиента, а и каждого из вас, господа присяжные. Каждый из вас наверное где-нибудь находился во время совершения преступления; каждый из вас может найтись в невозможности объяснить употребление своего времени; у каждого из вас (даже у господина прокурора!) могут найтись две копейки; стало быть, каждого из вас, вследствие этих ничтожных, ничего не объясняющих признаков, можно привлечь к суду? Подумайте, господа, что будет с обществом, в котором господину прокурору будет дана возможность во всякое время по своему усмотрению и в кого попало пускать изобретенным им арбузом!

Нам говорят: берегитесь! неблагонадежные элементы подтачивают священнейшие основы общества! Осуждайте! ибо если преступление останется ненаказанным, то общество превратится в скопище диких зверей, которые будут хватать друг друга за горло! Но позвольте же, господа! Осуждайте, карайте, преследуйте, будьте беспощадны, но не забудьте, что стрелы ваши должны попадать в действительного преступника, а не в прохожего, который случайно очутился на пути пущенного прокурором разрывного снаряда! Если кража, совершенная у Потапова, вызывает к небу о мщении, то почему же непременно казнить Дорофеева, а не каждого из нас, по усмотрению

господина прокурора? Почему, наконец, не казнить первую попавшуюся под руку куклу, чтобы на ней показать пример наказуемости? Я сам не утопист, милостивые государи! Я далеко не принадлежу к числу жалких последователей жалкой теории абсолютной неменяемости, которую гнусные исчадия современного нигилизма думают отвести глаза правосудию! Нет, я не нигилист! Напротив того, я глубоко убежден, что преступная воля должна быть наказана, что преступник, как говорит бессмертный Гегель, не только имеет право на наказание, но может даже требовать его; однако, согласитесь, милостивые государи, что странно и даже несправедливо было бы ожидать, чтобы подобное требование исходило от человека чистого, совсем непричастного содеянному! Дорофеев невинен -- зачем же он будет требовать, чтобы его наказали!..

Затем, обращаясь к случаю, по поводу которого доверие начальства призвало вас, господа присяжные, произнести приговор, я просто нахожу излишним говорить что-либо в оправдание моего клиента. Да, он ночевал у Потапова, он чиркал спичкою, он приторговывал у потерпевшей стороны "почти новую" рубашку -- я охотно допускаю все это, но ни в чем, решительно ни в чем не вижу преступления! Я не проникал в тайники души Дорофеева -- эти тайники, господа, открыты только богу! -- но, оставаясь на почве фактов, я могу быть совершенно покойным. Господа присяжные заседатели! вы не захотите обмануть доверие начальства! вы объявите подсудимого Дорофеева невинным!"

Эта речь производит эффект потрясающий. Осликов будет оправдан -- это несомненно. Тонкачев с какою-то неизреченною самоуверенностью качается на стуле. Как будто хочет сказать: и зачем вы меня из пустяков тревожили! Зачем отняли понапрасну столько драгоценных минут! Нагорнов понимает это; он догадывается, что, как обвинитель, он хватил несколько через край, и потому отказывается от возражения. В публике слышится сдержанный смех; слово: арбуз! нагорновский арбуз! -- летает по рядам, и можно предвидеть, что слово это не скоро забудется в заведении. Но у Нагорнова есть звезда, и она выручает его в ту самую минуту, когда противники считают его уже погибшим.

-- Подсудимый Дорофеев! что имеете вы прибавить в свою защиту?  
-- обращается председатель к Осликову.

Осликов лениво встает и, ковыряя в носу, озирает присутствующих. Тонкачев с ужасом начинает подозревать, что клиент его позабыл все внушения, которые были ему даны перед заседанием.

-- Да что говорить, ваше высококородие! -- произносит наконец Осликов, -- мой грех! я украл!

Тонкачев кидается к Осликову; Нагорнов поднимает голову и, сложив на Груды руки, бросает своему противнику взгляд, исполненный неизреченного торжества. Общий взрыв хохота, под шум которого никто не слышит речи, которую председатель, в виде бесконечно тянущейся канители, обращает к присяжным заседателям, вручая им лист с вопросными пунктами и убеждая их оправдать доверие начальства.

-- Если вы найдете, что подсудимый виноват, -- взывает председатель, -- то скажете: *ВИНОВЕН*; если же найдете, что подсудимый *НЕ* виноват, то скажете: *НЕВИНОВЕН*. Идите же, и пусть бог просветит сердца ваши!

Присяжные заседатели уходят, и через минуту выносят приговор: *ВИНОВЕН* -- по всем вопросам. Суд присуждает Осликова к лишению всех прав состояния и к заключению в арестантских ротах в течение пяти лет.

Ученики спешат в классы. Мсье Петанлер ловит на дороге Тонкачева.

-- Ecoutez, Tonkatschoff! -- говорит он, -- vous avez ete brillant, meme eblouissant de verve et d'esprit! mais la verite a ete, comme toujours, du cote de Nagornoff! Comment ne comprenezvous pas qu'il est impossible, qu'un nigaud comme Oslikoff ne soit pas coupable! Mais... au nom de Dieu! {Послушайте, Тонкачев! -- вы были блестящи, даже ослепительны по вдохновению и уму! Но истина была, как всегда, на стороне Нагорнова! Как вы не понимаете, что такой балбес, как Осликов, не может не быть виновен!.. Побойтесь бога!}

-----

По воскресеньям Миша рассказывает о своих подвигах родителям.

Со времени открытия новых судов между родителями поселилось некоторое разногласие относительно будущего сына. Анна Михайловна придерживается адвокатуры; Семен Прокофьевич склоняется на сторону прокурорского надзора.

-- Да ты слышал ли, в департаменте-то сидя, какие они куски рвут!  
-- убеждает Анна Михайловна мужа.

-- Всех денег, матушка, не ограбишь. Да ведь если очень-то шибко по чужим карманам лазить начнешь, так и в Сибирь, пожалуй, угодишь! Лавров-то ведь не далеко. Ну, и Бельмесов тоже. Гуляет он до поры до времени, а я все-таки надеюсь, что Туруханска ему не миновать. Жадны. А у начальства-то под глазами, он у нас все равно что у Христа за пазушкой будет! А может быть, еще политический процесс -- так ты вот и понимай тут!

Сам Миша тоже не мог определительно сказать, куда ему хочется: в адвокаты или в прокуроры. Иногда, идет он мимо Милютиных лавок и думает: непременно в адвокаты пойду! ведь все, все, что тут ни есть, -- все мое будет! Каждый день по четыре коробки сардинок съедать буду!

В другой раз его пленяет прокурорский мундир и сопряженная с ним неуклонность. Да это и не мудрено, потому что ведь тут все-таки не то, что жулика защитить -- тут, с позволения сказать, общество в опасности! Для дитяти оно даже очень лестно. Нарушенное общественное спокойствие! попранное право собственности! низринутые в прах авторитеты! -- какие величественные, повергающие в трепет задачи! И какая дорога впереди! сколько поводов для волнений на этом пути, в начале которого стоит какой-нибудь жалкий судебный следователь или секретарь суда {Автор оговаривается: что должности судебного следователя и секретаря суда очень почтенные должности -- в этом нет сомнения; следовательно, ежели они представляются жалкими, то не с точки зрения автора, а с точки зрения Миши Нагорнова. Для обвинения в диффамации тут нет повода, разве что кто-нибудь вздумает преследовать Мишу Нагорнова. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)}, а в конце -- министр! А тут еще, чего доброго,

политический процесс наклонется... будущее-то, будущее-то какое впереди!

-- Ведь это, батюшка, не адвокатишка какой-нибудь, который, задеря хвост, по управам благочиния летает, а в некотором роде... гард де ссо! {министр юстиции.}

Но надо сказать правду: молодость все-таки брала свое, и представление о четырех коробках сардинок почти всегда одерживало верх над честолюбивыми мечтами. Миша не мог пройти мимо человека, чтобы не видеть в нем "клиента", а раз усмотревши клиента, он уже невольно ел его глазами.

-- Я, маменька, Плотицына сегодня во сне видел! -- открывался он Анне Михайловне в минуту, когда аппетит уж очень сильно начинал тревожить его.

-- Уж как бы хорошо! уж так бы хорошо! ах, как бы хорошо! -- вместо ответа восклицала Анна Михайловна, и даже вся краснела от волнения.

-- Да вы, маменька, попросили бы папеньку!

-- Кто с ним, с упрямым, сговорит! А какие куски-то они рвут! ах, мой друг, как рвут!

-- Да это само собой! Неужто ж потачку давать! Тридцать процентиков, батюшка! тридцать процентиков, милости просим-с!

-- Ведь нынче шагу без него, мой друг, ступить нельзя! Дыхнуть без него, без кровопивца, возможности нет! Ты шаг вперед -- он два! И все-то забегает, все-то вперед бежит, все-то норовит подножку тебе подставить!

-- Однако ж какое это, маменька, величественное здание!

-- Ведь уж коли попал ты ему в лапы -- так там и держись! И не шевелись! Все равно что в капкане! Уж он тебя луцит-луцит! Он тебя чистит-чистит! Путаает-путаает! И до тех пор он тебя на волю не выпустит, покуда, что называется, как стельку не обстрижет!

-- Ну, маменька, не все так! Вот у нас Благолепов адвокат есть, так тот даже сам с удовольствием, по силе-возможности, клиенту

подарит! Намеднись выиграл дело одной клиентки, ну, клиентка и приезжает к нему. Что, говорит, Василий Васильич, вы с меня за труды положите? А он, знаете, покраснел этак, да так прямо и брякнул: "Я, говорит, сударыня, за добрые дела деньгами не беру, а вот кабы вы просвирку за меня вынули!"

-- Ну, уж это какой-то... необнакновенный какой-то! Однако ж, как бы ты думал! хоть просвиркой, а все-таки взял! Иной раз, душа моя, и просвирка... ах, как это иногда важно, мой друг! Молитва-то! ведь она, кажется... и ничего в ней нет... ан смотришь, и долетела! АН он в другом месте уйму денег урвал, или вот в лотарею двести тысяч выиграл! за молитву-то!

-- Ну, маменька, у него и билета-то, пожалуй, не сыщется!

-- Не говори этого, мой друг! ах, не говори! как знать, чего не знаешь!

-- А как бы, маменька, хорошо-то! Вот, говорят, Отпетый такую "деверию" завел, что вся кавалерия смотрит да зубами щелкает!

-- Ну, это, мой друг, тоже опасно. По-моему, лучше копить. Ведь эти прорвы, душа моя... много, ах, много деньжищ нужно, чтобы до сытости их довести! У нас, мой друг, у директора такая-то была, так он не то что все состояние свое в нее ухлопал, а и казну-то, кажется, по миру бы пустил, кабы вовремя его за руку не ухватили! Вот он теперича и живет да поживает в Архангельской губернии, а она, рыжая прорва, и о сю пору по Невскому на рысаках гарцует!

-- А хорошо бы, маменька!

-- Уж как бы не хорошо, кабы не эта их жадность! Опрятны они очень -- вот чем берут! Нашей русской против них -- и ни боже мой! Только и дерут же они за эту чистоту! Годиков этак пять-шесть пофорсила -- глядишь, либо домину в четыре этажа вывела, или в ламбарт целую уйму деньжищ спрятала! А брильянтов-то сколько! а кружев-то!

-- Им, маменька, без брильянтов нельзя. А что касается до богатства, так я от одного адвоката за верное слышал, что у иной, кроме брильянтов да кружев, ничего и нет. Да и те" как получит,

сейчас же у закладчика заложит, да у него же опять и берет напрокат!

-- Уж будто бы бедность такая! все, чай, сколько-нибудь накопит!

-- Ей-богу, маменька, так. Ведь они до сих пор все больше между офицерами обращались. Адвокаты-то только теперь в ход пошли, а прежде все с офицерами! Ну, а возьмите сами, сколько ей сперва нужно денег истратить, чтобы офицера-то заманить! Первое дело -- квартира, ковры, белье, второе -- экипаж, третье -- туалет, чтобы новый каждый день был...

-- И за все-то, мой друг, с нее вдвое! за все-то вдвое против других дерут! Потому, всякий знает, что она нечестная -- ну, и берут! Она и торговаться-то даже, мой друг, не смеет, а так прямо и отдает!

-- Вот видите! Платье-то, может быть, на ней пятьсот рублей стоит, а офицер-то возьмет да за обедом его шампанским обольет!

-- И обольет! Ты думаешь, не обольет! Да и как еще обольет-то! Офицер -- ведь он горд! На, скажет, подлянка! понимай, каков я есть!

-- Так вот то-то и есть! Тут, маменька, уж не об четырехэтажных домах приходится думать, а об том, как бы самой-то лет пяток-другой продышать!

-- Где уж об домах думать! да еще то ли с ними делают! Еще нынче все-таки потише стало, а прежде, бывало, как порасскажет папенька!..

-- Уж будто и папенька!!

-- А ты как бы об отце-то своем полагал! Тоже, батюшка, сахар медович был! Это чтобы "деверию" встретить, да, высуня язык, целые сутки за ней не пробегать -- да упаси бог, чтобы он случай такой пропустил! Пытала я первое-то время плакать от него! Бывало, он рыскает там, по Мещанским-то, а я лежу одна-одинешенька на постели, да все плачу! все плачу! И ни одним, то есть, словом никогда я его не попрекнула, чтобы там взгляд какой-нибудь или жест недовольный... Никогда! Всегда -- милости просим!

Анна Михайловна лжет, и Миша тоже очень хорошо знает, что Семен Прокофьевич имеет об "девериях" самые первоначальные, так сказать, детские понятия. Но им обоим приятно лгать, потому что предмет-то лганья очень уж занятен. Они ходят обнявшись по комнате и мечтают. Анна Михайловна мечтает о том, сколько бы у нее было изюму, черносливу, вермишели, макарон, одним словом, всего, чего только душа спросит. Мечтания Миши обращены больше в сторону "кокотки".

-- Еще бы не хорошо! уж так-то бы хорошо! -- восклицает Анна Михайловна.

-- Ах, маменька! -- стонущим голосом вторит ей Миша и ни с того ни с сего целует ее.

Но вот является Семен Прокофьевич, только что совершивший утреннее воскресное поклонение директору. Беседа разом принимает другой характер.

-- Ну, что, молодец, опять кого-нибудь в каторжные работы сослал? -- спрашивает счастливый отец.

-- Нет, только на пять лет в арестантские роты! Да и то, папенька, преступник уж сам сознался! Чуть-чуть было Тонкачев не загонял меня!

-- Как же это ты, брат, маху дал! Ай, ай, ай!

-- Да ведь трудно, папенька!

-- А ты напирай, братец! Он от тебя, а ты за ним! Он в сторону, а ты беги кругом -- да встречу! Вот, братец, как дела-то обделывать нужно!

-- Да я, папенька, и так...

-- Ну, да ведь и то сказать, не все же на каторгу! Спасибо и в арестантские роты на пять лет! Ну, и пуцай его посидит! За дело! Вперед не блуди!

-- А у нас, папаша, на будущей неделе, в "заведении" политический процесс готовится!

-- Ну, вот и дело! Вот этих лохматых да стриженных -- это так! Катай их!

-- А я бы, право, Мишеньку в адвокаты отдала! -- как-то нерешительно заговаривает Анна Михайловна.

Этого робкого заявления достаточно, чтобы в одно мгновение прогнать хорошее расположение духа Семена Прокофьяча.

-- И что тебе, матушка, за охота мне перед обедом аппетит портить! -- брюзжит он. -- Вот дай срок умру, тогда хоть в черти-дьяволы, хоть в публичный дом его отдавай!

Высказав это, Семен Прокофьяч, огорченный и раздраженный, уходит к себе в кабинет и вплоть до самого обеда не показывается оттуда.

Ничто не изменилось в течение шестнадцати лет в воскресных обедах Нагорновых, только посетители их как будто повыщвели. Дедушка Михаиле Семеныч уж не управляет архивом и с тех пор, как находится в отставке, как-то опустил, перестал шутить и, словно мхом, весь оброс волосами. Он худо слышит, глядит как-то тускло и беспомощно и плохо ест. Сестрицы-девицы по-прежнему остаются сущими девицами, но уже не краснеют и не стыдятся при слове "мужчина", но сами охотно заговаривают о самопомощи, самовоспитании и вообще обо всем, что имеет какое-нибудь прикосновение к женскому вопросу. Сам Семен Прокофьяч, с тех пор как его сделали генералом, постоянно задумывается и что-то шепчет про себя, как будто рассчитывает, к какому же, наконец, празднику дадут ему звезду. Пирог с сигом подается по-прежнему, но невский сижок до такой степени поднялся в цене, что вынуждены были заменить его ладожским и волховским. Одним словом, жизнь видимо угасает в этом семействе и, может быть, даже давно угасла бы, если б от времени до времени не пробуждал ее Миша прикосновением своего скромного, но все-таки молодого задора.

-- Нынче, батюшка, у нас кулебяка не прежняя! -- начинает беседу Семен Прокофьяч, обращаясь к старику Рыбникову, -- нынче невскими-то сижками князя да графы... да вот аблакаты лакомятся, а с нас, действительных статских, и ладожского предовольно! Да ведь и то сказать, чем же ладожский сиг -- не сиг!

Рыбников мычит что-то в ответ, но, очевидно, только из учтивости, потому что ничего не слышит, хотя Нагорнов и старается говорить как можно отчетливее.

-- Прежде, батюшка, ваше превосходительство, говядина-то восемь копеечек за фунт была, а нынче бог так привел, что и за бульонную по двадцати копеечек платим. Дорог понастроили, думали, что хоть икра дешевле будет, ан и тут легости нет. Вот я за самую эту квартиру прежде пятьсот на ассигнации платил, а нынче она уж пятьсот-то серебром из кармана стоит-с! Так-то вот!

Общее молчание. Все понимают, что Семен Прокофьич к чему-то ведет свою речь, и ждут понурившись. И действительно, по тем подергиваньям, с которыми он режет пирог и посылает в рот куски его, видно, что на сей раз дело не обойдется без нравоучения.

-- А сыночек вот в аблакаты устремляется! -- раздражается наконец Семен Прокофьич, -- а от этих, прости господи, сорванцов и бедствия-то все на нас пошли!

Молчание делается еще глубже и тягостнее.

-- У отца за душой гроша нет, а у сынка уж актрисы на уме... да как эти... камелиями, что ли, они у вас прозываются?

-- Камелиями, папенька.

-- Камелия, батюшка, -- это цветок такой. Цветками назвали! настоящим-то манером стыдно назвать, так по цветку название выдумали!

-- Помилуйте, папенька, разве я...

-- Я не об тебе, мой друг, а вообще про молодежь про нынешнюю... Зависть, батюшка, ваше превосходительство, у них какая-то появляется, коли они у которого человека в кармане рубль видят! Мысли другой никакой нет! Так вот и говорит тебе в самые глаза: не твой рубль, а мой! И так это на тебя взглянет, что даже сконфузит всего! Точно ты и в самом деле виноват перед ним! точно и в самом деле у тебя не свой, а его рубль-то в кармане!

Миша слушает, уткнувшись в тарелку. Очевидно, он недоволен. Как представитель молодого поколения, он считает своим долгом хотя пассивно, но достойно протестовать против клеветы на него.

-- Иду я это, батюшка, намердись по Катериновке, -- продолжает обличать Семен Прокофьевич, -- а передо мной два школяра идут. "Вот бы, -- говорит один, -- кабы в этой канаве разом всю рыбу выловить -- вот бы денег-то много забрать можно!" Так вот у них жадность-то какова! А того и не понимает, малец, что в нашей Катериновке, кроме нечистот из Зондерманландии, и рыбы-то никакой нет!

При слове "Зондерманландия" старик Рыбников обнаруживает некоторое оживление.

-- Да, брат, бывали! бывали мы там! -- шамкает он.

-- Вот он, аблакат-то этот, как нахватает чужих-то денег, ему и не жалко! В лавку придет -- всю лавку подавай! На садок придет -- весь садок подавай! А мы терпи! Он чужой двугривенчик-то за говядину отдает, а мы свой собственный, кровный, по милости его, подавай!

-- Бывали! бывали! -- прерывает старик Рыбников, думая, что речь все идет об Зондерманландии.

-- Нет, да вы, батюшка, ваше превосходительство, послушали бы, какой у них аукцион насчет этих деверий-камелий идет! Офицер говорит: полторы, говорит! Он: две, говорит!

Офицер опять: две с половиной! Он: три, говорит! Откуда он деньги-то берет! Вы вот что мне, батюшка, объясните!

-- Да... да... в Зондерманландии... это точно!

-- И ведь ничего-то у него на уме, кроме стяжанья этого, нет! Не то чтобы государству или там отечеству... послужить бы там, что ли... Нет, только одну мысль и держит в голове: как бы мамон себе набить!

Семен Прокофьевич постепенно приходит в такой азарт, что даже бросает на тарелку нож и вилку.

-- А нас взяточниками обзывают! -- гремит он, -- мы обрезочки да обкусочки подбирали -- мы взяточники! А он целого человека зараз проглотить готов -- он ничего! он благородный! Зачем, мол, сей человек праздно по свету мыкается! Пускай, мол, он у меня в животе отлежится!

Гусь стоит посреди стола нетронутым. Анна Михайловна и сестрицы притихли; у Миши слегка вздрагивают губы; даже старик Рыбников начинает понимать, что происходит нечто неладное.

-- И вот тебе мой отцовский завет, Михайло Семеныч! -- в упор обращается к сыну старик Нагорнов. -- В аблакаты -- ни-ни! Просвирками-то, брат, не проживешь, да ты и теперь уж над просвирками-то посмеиваешься! Ты, брат, может, на границу засматриваешься, что там аблакат-то в почете! Так ведь там он человек вольный: сегодня он аблакат, а завтра министр -- вот оно что! А ты здесь что! и сегодня мразь, и завтра мразь. Мразь! мразь! мразь!

-----

Миша убеждается, что, благодаря отцовскому предупреждению, двери в адвокатуру для него закрыты. Он решается идти в прокуроры, и в согласность этому решению приучает себя слегка голодать. "У прокурора, -- говорит он себе, -- живот должен иметь форму вогнутого зеркала, чтобы служил не к обременению, а чтобы всегда... везде... ваше превосходительство!.. готов-с!"

Тип надорванного, с вогнутым животом, и всегда готового исполнителя -- тип еще нарастающий, будущий... но он будет. Или, лучше сказать, он существовал искони, но временно как бы поколебался и утратил свою ясность. Это все тот же русский Митрофан, готовый и просвещаться и просвещать, и сражаться и быть сражаемым. В последнее время он несколько замутился благодаря новизне некоторых положений и неумению с желательною скоростью освоиться с ними; но несомненно, что он воспрянет, что он вновь сделается чистым, как стекло, и овладеет браздами...

Миша уже и ведет себя так, как будто он заправский прокурор. Строго, сдержанно, немножко сурово. Из уст его так и сыплются: "по

уложению о наказаниях", "по смыслу такого-то решения кассационного департамента", "на основании правил о судопроизводстве", "в Своде законов гражданских, статья такая-то, раздел такой-то, изображено" и т. д. Даже в дружеской беседе с товарищами он все как будто обвиняет и убеждает кого-то сослать в каторгу.

-- Тебя, брат, за такие дела, по статье такой-то, следовало бы, по малой мере, в исправительный дом на три года запрятать! -- говорит он, -- да моли еще бога, что смягчающие обстоятельства натянуть можно!

В большой зале, в ресторане Бореля, светло илюдно. Говор, смех, остроты и шутки не умолкают. Татары бесшумно мелькают взад и вперед, переменяя тарелки, принимая опорожненные бутылки и устанавливая стол новыми. Это пируют за субботним товарищеским ужином будущие прокуроры, будущие судьи, будущие адвокаты.

Приближается время выпуска, и молодые люди постепенно эмансипируются. Частенько-таки собираются они то в том, то в другом ресторане и за бокалом вина обсуждают ожидающие их впереди карьеры. Начальство знает об этом, но, ввиду скорого выпуска, смотрит на запрещенные сходки сквозь пальцы.

Разговор дробится по группам. На одном конце стола ведут речь о том, что выгоднее: в столице быть адвокатом или в провинции?

-- Ловкачев! ты куда?

-- Странный вопрос! разумеется, в адвокаты! не в судьях же пять лет на одном стуле сидеть!

-- Я, брат, тоже в адвокаты, да только думаю в провинцию. Здесь уж очень много нашего брата развелось!

-- Что ж! это мысль!

-- Я, брат, на днях одного провинциального адвоката встретил, так очень хвалит! Такое, говорит, житье, что даже поверить трудно!

-- А как, однако?

-- Да тысяч пятнадцать, двадцать в год! Только, говорит, у нас деликатесы-то бросить надо!

-- То есть, в каком же это смысле?

-- А так, говорит, какая сторона больше даст -- ту и защищай!

-- Это само собой! да там дела-то все мозглявые!

-- Это нужды нет! Мне, говорит, хоть по зернышку, да почаще! Ведь он там один как перст -- ну, все и захватил! А ежели приедет, говорит, еще адвокат -- сейчас, говорит, в другой город переберусь!

-- Да; двоим -- это точно... пожалуй, и делать там нечего!

-- А теперь, представь себе, как ему хорошо! Что ни дело, то верный выигрыш, потому что у него и противников-то настоящих нет. Народ бессловесный все, стало быть, истец ли, ответчик ли, как только не успел заручиться им, так уж и знает заранее, что дело его пропало. Для меня, говорит, любое дело защитить -- все одно что в вист с тремя болванами партию сыграть!

-- Да! это мысль! об этом стоит подумать!

В другой группе, средоточием которой служит Миша Нагорнов, идет тот же разговор, но с другими вариациями.

-- Нет, Проходимцев, я с тобой не согласен! -- ораторствует Миша, - в существовании прокурора есть тоже свои хорошие стороны!

-- Еще бы не было! даже египетские аскеты, когда жевали акрид, -- и те находили, что существование их имеет свои хорошие стороны!

-- Ну, нет-с; тут не акридами пахнет. Это не совсем так. Я заранее приглашаю тебя на прокурорский обед, и будь уверен, что ты всегда найдешь у меня кусок сочного "бульи", и стакан доброго вина!

-- "Бульи"!

-- Что ж! и "бульи" не у всякого адвоката бывает! Конечно, есть между ними такие, которые из трюфлей не выводят -- я заранее уступаю тебе, что в прокуратуре я этого не найду! -- ну, да ведь это из десятка у одного, трюфли-то! Но чего у тебя никогда не будет в твоей адвокатуре -- это возможности восходить по лестнице должностей, это возможности расширять твои горизонты и встать со

временем на ту высоту, с которой человеческие интересы кажутся каким-то жалким миражем, мгновенно разлетающимся при первом появлении из-за туч величественного светила государственности!

-- Ну, еще когда доползешь до этой высоты-то!

-- Нет, отчего ж! Я понимаю, что препятствия будут, и даже препятствия очень серьезные! Но мне кажется, что ежели я сумею заслужить доверие моего начальства, то самые препятствия обратятся мне же на пользу! Они только закалят меня и в то же время утратят характер непреодолимости!

-- Вот закал-то этот...

-- Да ты пойми, душа моя, два-три хороших убийства -- и у меня дело в шляпе... Я уж на виду! А если тут не повезет, можно по части проекцев пройтись! Проектец, например, по части изменения судебных уставов... какие тут виды-то представиться могут!

-- Так, значит, будем резаться друг против друга?

-- Значит, будем резаться!

В других пунктах стола идут разговоры более отрывочные.

-- Да с этого дела, -- выкрикивает кто-то, -- не то что тридцать, сто тысяч взять мало! Это уж глупо! Это просто-напросто значит дело портить!

-- Ну, брат, сто тысяч -- дудки! Кабы нашего брата поменьше было -- это так! Я понимаю, что тогда можно было бы и сто тысяч заполучить! А теперь... откажись-ка от тридцати-то тысяч -- десятки на твое место явятся! Нет, брат, нынче и за тридцать тысяч в ножки поклонисься!

-- Я наверное это знаю, -- выкрикивает другой, -- что ежели ты ему вперед тысячи рублей не выложишь, он пальцем об палец для тебя не ударит! Намеднись в Пензу по делу о растлении малолетней его приглашали, так он прямо наотрез потребовал: первое -- восемь тысяч на стол -- это уж без возврата, значит! -- второе, ежели вместо каторги только на поселение -- еще восемь тысяч; третье -- ежели совсем оправлю -- двадцать тысяч!

-- Ну, это, брат, молодец!

-- Господа! -- выкрикивает третий, -- я предлагаю составить компанию для отравления этой немки!

-- Какой немки? какой немки? -- сыплются со всех сторон вопросы.

-- Да вот той, которая двадцать миллионов долларов в наследство получила! Боковая линия пятидесяти процентов не пожалеет, чтоб ее извести!

-- Этот-то вопрос не важный! -- выкрикивает четвертый, -- вопрос-то об единоутробии! Да ежели его как следует разработать, какой свет-то на всю судебную практику прольется! Ведь мы впотьмах, господа, бродим! Ведь это что ж, наконец!

И вдруг, среди этого хаоса восклицаний, вопросов и пререканий, влетает в зал цвет, слава и гордость адвокатуры, сам господин Тонкачев.

Тонкачев уже два года, как вышел из "заведения", и с тех пор с честью подвизается на поприще адвокатуры. Это вообще очень изящный молодой человек; на нем черная бархатная визитка и тончайшее, ослепительной белизны белье. Претензий на щегольство -- никаких; но все так прилично и умненько пригнано, что всякий при взгляде на него невольно думает: какой, должно быть, способный и основательный молодой человек! Стулья с шумом раздвигаются, чтобы дать место новому и, очевидно, дорогому гостю.

-- Тонкачев! вот это мило! вот это сюрприз! -- восклицают молодые люди, обступая адвокатскую знаменитость.

-- Извините, господа, я попросту! Я здесь в соседней комнате ужинал -- вдруг, слышу, знакомые голоса! Думаю, отчего старых приятелей не навестить!

-- И прекрасно! выпьем вместе! Человек! шампанского! Господа! за здоровье Владимира Васильевича Тонкачева!

-- Принимаю и благодарю. И, в свою очередь, пью за вас, господа. Пью за эту блестящую плеяду будущих молодых деятелей, которым через два месяца суждено испробовать свои силы! Приветствую в вас то еще недалекое и навсегда для меня незабвенное прошлое, когда и

я, полный молодых надежд, выступал из стен заведения!

Приветствую в вас то прекрасное будущее, которое, впрочем, прекрасно не для одних вас, но с вами и, так сказать, по случаю вас - и для всей страны! Да, господа, это мое глубокое, несокрушимое убеждение: вы призваны совершить перерождение горячо любимой нами родины и, конечно, будете стоять на высоте этого призвания! С такими бодрыми, сильными, смелыми деятелями можно смотреть вперед с доверием. Можно смело поднимать завесу будущего -- и не опасаться! Пускай подкапывается под нас злоба, пускай обращает она на нас свой змеиный шип -- мы останемся твердыми, как скала! Волны клеветы будут лизать ноги наши, но никогда не достигнут до головы. Мы не утописты, господа, не политики, не идеологи -- следовательно, у нас даже мест таких не имеется, в которые клевета могла бы без труда запустить свое жало! У нас нет даже ахиллесовой пяты. Мы простые, честные труженики. Мы употребляем в дело свой труд, свои познания, и получаем за это посильное вознаграждение: вот наша роль, господа; роль в высшей степени скромная, но и в высшей степени плодотворная. Итак, господа, повторяю: я счастлив, поднимая за вас этот бокал! За вас я пью, за эту блестящую плеяду будущих молодых деятелей, которым суждено довершить то, что так счастливо начали их предшественники!

Тонкачев произнес эту речь совсем невзначай и с такою легкостью, что, казалось, как будто вошел человек и плюнул. Тем неописаннее был произведенный ею в молодежи фурор.

-- Bravo, Тонкачев! вот так спасибо! Это, что называется, по-товарищески! Человек! шампанского! -- раздавалось со всех сторон.

Но вот, среди поцелуев и обниманий, к Тонкачеву приближается Миша с бокалом в руках.

-- Позвольте мне, -- начинает он взволнованным голосом, -- позвольте мне, вашему бывшему противнику по состязательному процессу, приветствовать в вас славу, надежду и гордость нашего молодого, только что нарождающегося сословия адвокатов! Из-за скромных стен нашего заведения мы следили за вашими успехами и радовались им. Мы, смею так выразиться, гордились ими. На долю нашего заведения выпал счастливый жребий, господа. Сколько дало

оно стране высокопоставленных лиц, сколько людей, отмеченных печатью гения! Следовательно, выходя из стен школы, мы прямо уже видим перед собою примеры, которых вполне достаточно, чтоб ободрить молодой дух и вдохнуть в молодое сердце решимость следовать по стопам предшественников. Что может быть величественнее, поучительнее, благотворнее, как зрелище людей, неуклонно шествующих по стезе долга! А мы, мы видим это зрелище постоянно, и постоянно имеем возможность вдохновляться им! Чтоб быть твердыми, нам не нужно особенных усилий: нам стоит только взглянуть вперед. Там, в этом блестящем сонмище людей, посвятивших себя служению истине, мы встретим не только полезный пример, но и действительную помощь, совет и ободрение. Нам ли не преуспевать? нам ли не подвигаться быстрым и твердым шагом по лестнице должностей! Через два месяца мы выходим, господа. Через два месяца мы предстанем перед вами, Владимир Васильевич! перед вами и вашими славными сподвижниками! Вы не отвернетесь от нас, вы подадите нам руку помощи, которая так необходима для нашей неопытности! Я убежден в этом, и в этой сладкой уверенности, с чувством заранее несущейся от сердца признательности, поднимаю за вас бокал мой! За Владимира Васильевича Тонкачева, господа! За красу и гордость нашего заведения! За славу нашего молодого, только что нарождающегося сословия адвокатов!

Восторг школяров не знает пределов. Тонкачева качают, Нагорнова качают, потом поочередно качают Ловкачева, Проходимцева, даже Осликова.

-- Ты, Осликов, как? -- спрашивает его Тонкачев.

-- А я, брат, кажется, на скамье подсудимых сидеть буду! -- отвечает Осликов, залпом выпивая громадную рюмку коньяку и заедая ее булкой с икрой.

-- Ну, в таком случае бери меня в защитники! -- любезно предлагает Тонкачев, -- только, чур, не виниться, как, помнишь, в тот раз!

-- Я, брат, нонче тверд. Невиновен -- кончено дело! Общий взрыв хохота.

Тонкачев усаживается в центре стола и начинает беседовать.

-- В нашем деле, господа, больше всего смелость нужна! -- ораторствует он, -- смелость и находчивость; это средство на судей без ошибки действует!

-- Да, удивительно, как вы зининское дело выиграли! -- восклицает Ловкачев.

-- А почему я его выиграл? Потому что нашелся! А не найдись я, не пусти в ход того блестящего парадокса... помните?.. противная сторона откатала бы меня!

-- Ну, с вами-то не так легко справиться!

-- Я, господа, вот как рассуждаю: адвокат должен не про сто говорить, а говорить, так сказать, с картинками. Вот как книжки: и с картинками и без картинок издают, так и адвокатская речь: может быть и с картинками и без картинок. Чуть только суд задумываться стал -- ну, тут уж не плошай! Все картинки, какие есть, -- все на стол разом выкладывай!

-- Но ведь для этого талант особенный нужно иметь!

-- Без таланта, батюшка, ничего нельзя. За талант-то, собственно, и деньги нам платят. За талант, за смелость, за уменье найтись. Наше дело такое, что тут все в соображение принимать следует: и характер судей, и домашнюю их обстановку, и даже случайность всякую. Да, даже просто случайность. Иногда, кажется, вот-вот проиграл дело, а он подвернется под руку случай -- и поправился! Я даже в запасе всегда какую-нибудь случайность имею. Анекдот там, что ли, цитату... ну, просто глупость какую-нибудь. Дам противнику выговориться, да тут его и накрою: в некотором, мол, царстве, в некотором государстве жил-был истец... И пошел! и пошел!

-- Удивительно! бесподобно!

Тонкачев окончательно входит в роль и начинает, так сказать, прорицать...

-- Мне стоит только взглянуть на состав суда, -- говорит он, -- чтоб сейчас же определить, выиграю я дело или проиграю. Вот тут-то именно и нужна мне сноровка. Ежели состав суда благоприятный, я

все силы употреблю, чтоб дело было рассмотрено именно в этом заседании; ежели состав суда неблагоприятный -- я из кожи лезу, чтоб мое дело было отложено. Вы думаете, как я кондыревское дело выиграл? -- именно этот фортель в ход пустил! Вижу, Левушка Сибаритов в числе судей сидит -- ну, думаю, плохо дело. И подвел, знаете, кулеврину! И до тех пор откладывал да откладывал, покуда Левушку в Чернолесск председателем не перевели. Тогда и покончил.

В публике слышится ропот удивления.

-- Я не такие еще штуки выделывал! Один раз я перед присяжными показывал, как через веревочку прыгают. Встал посередке зала и начал прыгать. Оправдали. Другой раз стал доказывать, что один человек может целый папушник съесть -- и съел. Я к одному из будущих заседаний такую штуку приготавливаю, такую штуку! Вот увидите!

-- Расскажите, Тонкачев! Ну, пожалуйста!

-- Нет, господа, покуда это секрет. Я должен поразить неожиданно, чтобы никто не опомнился. У меня, господа, сто пять дел в производстве было -- сколько отчаянных между ними, ну самых, то есть, таких, что даже издали взглянуть на него противно! -- и девяносто семь из них выиграл! Заметьте: из ста пяти дел только восемь проигранных! Такого *tour de force* даже Отпетый не совершал!

-- Тонкачев! шампанского! *servez-vous!* {пожалуйста!}

-- Нет, господа, вы уж позвольте мне самому фетировать вас! человек! двенадцать бутылок! вы, господа, какое предпочитаете?

-- Редерер! Редерер!

-- А я, грешный человек, предпочитаю *Heidzick-cabinet!* Суше. А впрочем, можно от времени до времени и ледерцу пропустить. Только предварительно надлежит по коньячкам пройтись, чтобы приличное осаже сделать после всего этого изобилия плодов земных!

Попойка возобновляет течение свое и принимает более и более шумный характер. Через час пирующие уже перестают понимать

друг друга. Один Тонкачев, что называется, ни в одном глазе, и только хвастает в несколько более усиленных размерах, чем обыкновенно.

-- Вот когда вы выйдете из заведения, все ко мне приходите! -- говорит он, -- так прямо и приходите! Я всех в помощники приму! Мы целую фабрику заведем! Мы такое судоговоренье устроим, что небу жарко будет! Истец ли, ответчик ли -- все будет одно, все в наших руках. Сам истец, сам и ответчик! Вот мы какую штуку удерем! Я, ты, он -- все одно! все один черт!

Наконец дело доходит до того, что некоторые из беседующих начинают плакать, другие смеяться, третьи призывать небо и землю в свидетели. Один из школьников подходит к зеркалу и, завидев там свое изображение, начинает к нему придирааться. Опьянел наконец и Тонкачев.

-- А ведь по правде-то, -- говорит он коснеющим языком, -- как ежели по совести... свиньи мы, господа! Ничего-то ведь у нас за душой. Ну просто, так сказать, в душе кабак... ей-богу, так!

Далеко за полночь молодых людей не без труда развозят по домам татары.

-----

Наконец сдан и последний экзамен. Будущие прокуроры и адвокаты рассыпаются по стогнам Петербурга.

Миша вышел первым. В щегольском фраке, с капитанским чином на плечах, он с выпускного обеда является в отчий дом. Но так как он навеселе, то ему кажется, что перед ним не скромная квартира Семена Прокофьича Нагорнова в Подьяческой, а величественное здание суда.

-- Принимая во внимание, -- говорит он, останавливаясь в дверях передней и указывая на отца, -- принимая во вниманье, что этот человек совершил преступление с полным сознанием содеянного, и притом без всяких уменьшающих вину его обстоятельств, а потому полагаем...

-- Друг ты мой! -- восклицает Анна Михайловна в какомто неопisanном волнении.

-- Ну, Христос с ним! выпил... Христос с ним! -- с нежностью говорит Семен Прокофьич, крестя сына.

-- И за что они меня в прокуроры отдали! Я в адвокаты хочу! -- всхлипывает Миша каким-то наболевшим голосом, и слезы градом катятся из глаз его.

Будущего прокурора укладывают спать.